

6/4
1-69

ЗВЕЗДА

Востока

6

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ . 1947

h1

СРЕДНА

6

УЧЕБНИК ПО МАТЕМАТИКЕ ЗА СРЕДНА ШКОЛА

ТАБЛИЦА 1

6/4
ЗВЕЗДА

Востока

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О -
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -
П О Л И Т И Ч Е С К И Й
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА

СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

№ 6 Объединенное изд-во „Правда Востока“ и „Кзыл Узбекистан“ 1947

АБДУЛЛА КАХХАР

„ДВА ЧИНАРА“

Р о м а н

Продолжение¹

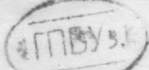
И НЕБО БЛИЗКО И ЗЕМЛЯ МЯГКА

На душе у Сыдык-джана было беспокойно. Как он мог дать свое согласие работать на плотине, если у него не было намерения оставаться здесь? И, прежде всего, почему, когда Урман-джан предупреждал: „В нашем колхозе работы много, а еды мало, у нас ты новой одежды скоро не справишь“, — не сказать было ему прямо: „Мне это не подходит“. А теперь, если вернуться и сказать: „Отступаю, ухожу“, — разве Урман-джан не подумает: „Посмотрел — работа тяжелая, у него и сердце оборвалось, напугался“. Уйти, не встретившись с ним, будет не по-людски: человек поверил словам неизвестного ему йигита, принял в нем такое участие, оказал столько доброты-внимания. Нужно не иметь совести, чтобы обмануть такого человека. Что же делать? Следовать поговорке: „Не отводи руки и не огорчай человека, если он от чистого сердца и горелый хлеб поднес“?

Сыдык-джан долго не мог уснуть, все думал. Перед глазами его вдруг возник двор Зуннуна-ходжи. Самого Зуннуна-ходжи нет дома. Зеленая от злости, словно перецолненный ядом июльский скорпион, теща гремит замком, запирая амбар. Сынишка плачет в зыбке, и никто этого не слышит. Жена разоделась в лучшее свое платье, понацепила украшения, которые раньше одевала только в дни хайта², — брови накрашены усьмой, глаза подведены сурьмой, — поставила к дувалу лестницу и перешепывается с соседом, хи-

¹ См. „Звезда Востока“ №№ 1, 2-3, 4 — 1947 г.

² Хайт — годового мусульманский праздник.



хикает. Ей весело. И почему ей так весело? Или у ней любовник был, и она теперь, по пословице — „Сулейман умер и дэвы возрадовались“, — почувствовала себя свободной.

Сон ли это, наяву ли так разыгралось воображение, и не разобратъ. Только, когда сердце в тревоге расширилось до того, что нечем стало дышать, и сами открылись глаза, Сыдык-джан понял, что задремал, и все это ему привиделось во сне. Как только он открыл глаза, не осталось и следа от тяжелого сна, свинцом налившего тело. „Неужели она может выйти за другого?“ — пронзила его мысль. До сих пор это ему и в голову не приходило, а тут показалось, что жена его действительно вышла замуж, а он стоит рядом, вынужденный слушать каждое ее слово, обращенное к новому мужу, видеть, как она его ласкает, и сердце его вздрогнуло, словно к нему приложили кусок холодного льда. Затем перед его глазами встал Зуннун-ходжа, такой, каким он видел его в последний раз у матери, и в ушах ясно послышалось: „Дом свой подожгу, повешусь. Довольно, сын мой.“ „Шайтан в этом деле руководит мной или Рахман¹, — вслух проговорил Сыдык-джан. — Может, я напрасно себе это затеял. Зуннун-ходжа, во всяком случае, человек не плохой, в конце концов глаза его раскрылись бы и он встал бы на правильную дорогу. А одна старуха — не могла же она устоять против всего света.“

Однако думать обо всем это было уже поздно. Сыдык-джан снова принялся размышлять над своим положением: зачем он пришел в эти места, как он отсюда выберется и, если выберется, куда пойдет и что станет делать. Думал, думал и размечтался: придет он в такие места, где прямо из земли растет чистое золото; будет работать среди людей приятных нравом, веселых, чистых сердцем, готовых пожертвовать ради другого жизнью; наживет он себе богатство и, что важнее всего, надежных друзей; справит себе добротную одежду, мягкую, очень мягкую, постель — такую, что ляжет человек, — и утонет в ней, и спать будет до самого солнца...

Сыдык-джан открыл глаза. Еще не рассвело, а вокруг слышался гомон, крики, смех. Кто-то стоял над ним и, размахивая чем-то белым, говорил:

— Вот, переоденьтесь в это, Сыдык-джан.

Это был Балта-бай.

Сыдык-джан сделал вид, будто он давно проснулся, мигом вскочил с постели и протянул руку.

— Это рубаха со штанами, — сказал Балта-бай. — А это чарики². Торопитесь, уже чай готов.

Сыдык-джан прошел за камышовую стену навеса и переоделся. Рубаха и штаны были влажными, от них пахло потом, чарики оказались велики, не по ноге. Сыдык-джан, пожившись, вернулся под навес. Все вокруг теперь казалось влажным, противным, гомон и смех окружающих людей раздражали его. Появившаяся от-

¹ Рахман — одно из имен бога.

² Ч.рики — род кожаной обуви, постолы.

куда-то Зиеда-хан взяла у него сапоги, завернутые в поясной платок яктак со штанами и, сунув ему в руку простую глиняную касу, указала на группу людей, усевшихся в кружок на противоположной стороне навеса.

— Идите, пейте чай, — сказала она.

Сыдык-джан, как мальчишка, вдруг оказавшийся в незнакомом месте, почувствовал себя совершенно беспомощным.

— А где Балта-бай ака? — растерянно спросил он.

Балта-бай. — Оказалось, он сидел в том самом кружке, — окликнул его. Сыдык-джан встрепенулся, словно в душу ему неожиданно проник луч света, подошел к сидящим, хоть можно было найти место более свободное, кое-как втиснувшись, уселся рядом с ним. Кто-то взял из его рук касу и, высоко держа чайник, с шумом налил ему чаю. Все молча хлебали чай, жевали, кто-то часто и громко шмыгал носом.

— Балта-бай ака, этот яблочный чай можно было, пожалуй, и не засыпать, — проговорил какой-то молодой парень, — пили бы чистую кипяченую воду. Смотрите, от него идет дух намошней под дождем мыши.

Все рассмеялись.

— Не привередничай, не привередничай, — послышался чей-то низкий бас. — Будто и в самом деле тебе приходилось нюхать мышь, намокшую под дождем.

— А вам приходилось нюхать? Похоже, приходилось, а? — поймал его на слове парень.

Человек, сидевший рядом с Сыдык-джаном, поперхнулся и долго откашливался. Все снова рассмеялось.

Люди эти смеялись так беспечно, словно они, свободно расположившись на высоком помосте, на котором — весь свет водой залей, им лодыжек не замочит, — только и знали, что проводили время в удовольствиях. Сыдык-джану сначала это не понравилось, потом он стал удивляться: неужели эти люди настолько привыкли к такой жизни?

— Э, вы все еще сидите, — удивился Балта-бай, заметив, что Сыдык-джан еще не притронулся к хлебу. — Берите. Все это вам, ешьте, не обращайтесь ни на кого внимания. Берите рыбу... Да поторопитесь, сейчас подниматься будем... Вы что хотите делать: жетменем работать или землю носить?

— Нам все равно, — ответил Сыдык-джан, с трудом пережевывая пахнувший рыбой хлеб. Он хотел сказать еще что-то, но в разговор вмешался озорной парень.

— Братец Сыдык-джан пусть переноской земли займется, я ему сам приготовлю кубышку с длинной веревочкой, такую, какой он в детстве пыль перевозил, — пошутил он.

То, что с ними шутили и даже величали уважительным „братец“, пришлось очень по душе Сыдык-джану, который до сих пор чувствовал себя чужим среди этих людей. На сердце его сразу потеплело, и он обрадовался, словно ребенок, наконец прильнувший к груди матери. Сейчас не только парень, обратившийся к нему с

шуткой, но и все остальные показались ему такими близкими, словно он знал их уже давным-давно. Всего несколько минут назад он не решался сесть вдали от Балта-бая и беспокоился о том, где тот будет работать, чтобы стать с ним рядом, а теперь даже позабыл и думать об этом.

— Верно, — спросил Балта-бай, когда смех несколько стих, — землю переносить будете?

Сыдык-джану во что бы то ни стало захотелось работать рядом с весельчаком-йигитом.

— А сам он на какой работе? — тихонько спросил он у Балта-бая.

— Рузимат? Рузимат с кетменем...

— Тогда и я кетменем попробую.

— Слышишь, Рузимат! — крикнул Балта-бай. — Братец твой Сыдык-джан хочет потягаться с тобой, — и тут же обратился ко всем:

— Ну, йигиты, покончили с чаем, и о-бмин...¹

Все разом встали.

Вершины гор вдали посветлели. Медленно стекая по склонам, свет мало-помалу заполнял долину; далекие адыры², деревья, даже канал и валы земли на его обочинах сначала принимали пепельно-серый оттенок, потом заголубели; неприметные в темноте фигуры людей, работавших кетменями на канале, стали похожи на темносиние тени.

Балта-бай принес для Сыдык-джана кетмень, показал ему место работы, а сам ушел вверх по каналу. Сыдык-джан, полагавший, что люди и на работе так же беспечно-веселы и проводят время незаметно за шутками и прибаутками, заскучал, когда все умолкло, занятые делом. Работал он, нехотя взмахивая кетменем, и, наконец, оставив кетмень, подошел к Рузимату. Рузимат, показавшийся ему в темноте довольно полным парнем лет двадцати пяти, и на самом деле был крепким, но худощавым, но только что пробивающимся усами йигитом. Глядя на него сейчас, можно было подумать, что это неразговорчивый, нелюдимый человек.

— Оху! — удивился Сыдык-джан. — Сколько вы наворотили!

Рузимат сразмаху вонзил кетмень в землю по самый обух и, оставив его так, обернулся к Сыдык-джану.

— Не уставать вам...

— Здоровы будьте, и вам не уставать, — ответил Сыдык-джан и, обойдя кучу земли, вчетверо превышавшую то, что было сделано им самим, повторил: — Здорово наворотили вы.

— Мы и пришли сюда, чтобы наворачивать.

— До вечера, пожалуй, против этого еще втрое сделаете.

— Пожалуй, а может и больше...

— Сколько же вы зарабатываете за день?

— Не знаю. Сейчас я вырабатываю полтора трудодня. А трудодень у нас в этом году, пожалуй, дешевый будет, потому что много сил у колхоза пошло на этот арык.

¹ Омин — то же, что русское аминь, здесь — и конец.

² Адыр — возвышенность, цепь холмов.

— А в прошлом году сколько вы зарабатывали?

— В прошлом году трудодень у нас обошелся по двадцать три копейки.

Сыдык-джану стало не по себе. Нечего сказать, в хорошее место попал я, — подумал он.

— Тогда, пожалуй, лучше грузчиком быть, — невольно вырвалось у него.

Рузимат рассмеялся.

— Да, если думать о деньгах, лучше быть грузчиком. Только нам сейчас нужны не деньги, а вода, — сказал он и, заметив на губах Сыдык-джана усмешку, добавил: — Чем курдюк вдалеке, лучше легкие вблизи, хотите вы сказать? Люди, которые так думали, уже давно, еще когда начинали дамбу строить, из колхоза ушли. А те, что так не думали, вот, сами видите, работают, не жалея себя. Арык роется и скоро будет готов, по нему потечет вода, а остальное в наших руках. Разве это похоже на курдюк вдалеке? Что до меня, то в этом году трудодень пусть хоть в пятак обойдется.

— Да, конечно, — поспешил согласиться Сыдык-джан. — Ясное дело: запруды готова — поплачешь, землю поливая — порадуешься.

— Баракалла!¹ — проговорил Рузимат, протягивая руку к кетменю. — Товарищ Ахмедов тоже всегда так говорит. Знаете товарища Ахмедова? Это секретарь нашего райкома. Не знаете? Этот человек говорит, — дальше-больше у нас всё будут делать машины. Трактор будет землю пахать, трактор будет чигит² рассеивать, прополку делать, хлопок собирать, поля от гуза-пая³ очищать... Короче — волосы не будет стричь только.

Хотя Сыдык-джан вовсе не верил тому, что говорил Рузимат, но, чтобы угодить ему, схватился за ворот:

— О, сила небесная... А что же будут делать люди?

Рузимат сделал два-три удара и снова оставил кетмень.

— Э, Сыдык-джан ака, для нас всегда дело найдется. Есть много таких дел, что отцы наши не сумели сделать и нам завещали. Вот хотя бы этот арык. Это дело, которое должны были бы сделать наши отцы.

Рузимат снова, словно торопясь покончить с арыком и перейти к одному из тех дел, что остались от отцов, с усердием принялся взмахивать кетменем. И все, сколько было людей вокруг, — и кетменщики, и относчики земли, — работали поспешая, точно так же, как и Рузимат. Сыдык-джан собрался уходить и только для того, чтобы сказать что-нибудь, повторил:

— И хлопок собирать будут, а?

— Да, — подтвердил Рузимат, — дивиться приходится человеку. Видно, ученые какой ни на есть путь нашли, иначе товарищ Ахмедов не стал бы говорить. Вот если бы и ученые колхозом стали работать... От мира, как говорят, и заяц не убежит.

¹ Баракалла — возглас одобрения, похвалы.

² Чигит — семена хлопка.

³ Гуза-пая — стебли хлопчатника.

Сыдык-джан вернулся на свое место и принялся за работу. Утром этот парень показался ему легкомысленным чудаком, с которым приятно быть вместе потому, что он весельчак и почитителен в обращении со старшими, после же этой беседы он подумал о нем: „Толковый, разумный йигит, оказывается“.

Во время обеда Рузимат, как и утром, смешил всех, то оказываясь побежденным, то одерживая верх над своими противниками; когда пришлось к слову, он и Сыдык-джаву пощекотал бок острым словцом.

— Балта-бай ака, — сказал он, — если я начну всерьез тягаться с Сыдык-джаном, то, пожалуй, останусь в убытке. Он работает кетменем так, будто человек на сытый желудок блюдо облизывает.

Сыдык-джан был очень сковфужен, а еще больше напуган. Ему казалось, что если Рузимат сейчас передаст его слова: „Лучше, пожалуй, грузчиком быть“, — он сразу же станет чужим для этих людей, будет изгнан отсюда и больше уже нигде не сможет прямо смотреть людям в глаза.

Взглянув на Сыдык-джана, Балта-бай подумал: „Слова Рузимата, похоже, обидели его, он, видно, не терпит шуток“, — и, мигнув Рузимату, нахмурил брови. Все заметили это и смолкли. После минутного молчания, которое показалось Сыдык-джану очень долгим, один человек средних лет, видимо, желая подбодрить Сыдык-джана, стукнул Рузимата ложкой по лбу и в шутку спросил:

— А ты сам, знаешь на кого ты похож, когда работаешь кетменем?

С кем он сравнивал Рузимата, человек этот не сказал, но все присутствующие вдруг, как один, захохотали и так громко, словно они хорошо знали, на что он намекал.

После обеденного перерыва Сыдык-джан работал уже старательнее. Когда отужинали, табельщик объявил дневную выработку в отдельности каждого человека, каждой бригады и всего колхоза вместе. Фамилии Сыдык-джана в списке не оказалось. Сыдык-джан не причислял себя к коллективу этих людей и еще не решил, останется ли он в этом колхозе, и все же ему стало почему-то обидно. Отсутствие в списке его имени никем не было замечено, однако ему казалось, что все смотрят на него и сочувствуют: „Не огорчайся, придет время, и ты окажешься с нами в ряду“. Он хотел было поговорить с Балта-баем, но когда подумал, то оказалось, что для этого не было никаких оснований. Раз он еще не решил твердо, останется ли в этом колхозе, какой смысл говорить об этом? Заговоришь, и вдруг Балта-бай возьмет, да и запишет в список. А потом что? Что же, так и оставаться здесь?

Вопрос этот снова заставил Сыдык-джана подумать о своем положении. По пословице: „И прогулка есть прогулка, и блуждание — тоже прогулка“, — он считал свое появление в этих местах случайным и был уверен, что для вступления его в колхоз существует тысяча препятствий. Размышляя ночью, он твердо укрепился было в мысли уйти отсюда, однако, когда он попристальной заглянул в себя, то оказалось, что душа его больше склонна

к тому, чтобы остаться здесь. Как же так? Когда Урман-джан сказал: „В нашем колхозе работы много, а еды мало“, — сердце его сжалось и ноги не хотели идти в эти места, хоть он и считал это преувеличением. Почему же теперь, когда он своими глазами увидел, что в словах председателя нет и капли преувеличения, душа его стала более склонной к тому, чтобы остаться? Что ему могло понравиться в этих местах? Низина Куги, Лагушинный заповедник или вот эти чарики и рубаха со штанами... Но, как бы там ни было, у него появилось желание остаться. Теперь ему казалось, что существует столько же препятствий к тому, чтобы уйти, сколько существовало их раньше к тому, чтобы остаться. Сыдык-джан стал припоминать препятствия, которые, как ему казалось раньше, мешали ему остаться в колхозе, постарался взвесить каждое из них. И тут перед его глазами вдруг встал Зуннун-ходжа. Ему показалось, что Зуннун-ходжа увидел его одетым в старую рубаху со штанами, в большущие чарики и, презрительно искривив губы, выругался: „Так вот как ты живешь, подохнуть тебе.“ Однако эта картина несколько не испугала Сыдык-джана. У него появилась уверенность, что на самом деле Зуннун-ходжа не сможет ни приехать в эти места, ни подойти к этим людям, ни, тем более, сказать что-либо подобное человеку, который находился среди них. Много размышлений и сомнений вызвали у Сыдык-джана воспоминания о его поступках в первые дни появления в колхозе. Неумное ухаживание за женой Урман-джана, спрятанный в копне сахар, случай с Зиеда-хан апа, — все это очень его мучило. Размышляя о своих поступках, Сыдык-джан пришел к убеждению, что именно возможность разоблачения их может явиться главным препятствием ко вступлению его в колхоз и, следовательно, всему виною он сам. И как только он подумал об этом, так ему сразу же и здешние места и люди показались очень близкими, почти родными. Если прежде ему казалось, что весь мир просторен и светел и только здесь царит такая темнота и теснота, что человеку нечем дышать, то теперь, наоборот, ему казалось, что именно только в этих местах и есть свет, и только здесь и можно вдоволь надышаться. Сыдык-джану очень захотелось сохранить надежду остаться здесь, среди этих людей, перенесших столько страданий, и стать таким же чистым, как они, и он, наконец, нашел себе утешение в том, что жена председателя вовсе не заметила его дурных намерений, Зиеда-хан апа уже простила ему их, а что касается сахара, то его, наверное, давно уже ктонибудь нашел и потихоньку съел.

Весь следующий день Сыдык-джан работал очень старательно, но так как и на этот раз его имени не оказалось в списке, то он, встретившись с Балта-баем в уединенном месте, по возможности мягко спросил:

— Балта-бай ака, хвалельщик ваш все время упускает меня из памяти, ничего это?

Балта-бай пристально взглянул на него и спросил:

— А в чем дело? Бойтесь за свой заработок...

— Я не о зароботке говорю, Балта-бай ака, зароботок можно

и не записывать. Только вечером, когда он выкликает людей.. человеку обидно становится.

Лицо Балта-бая прояснилось.

— Если хотите, чтоб и ваше имя выкликали, присоединяйтесь к соревнованию в таком случае.

— Я готов присоединиться, куда бы вы ни сказали. А что надо мне делать?

— Надо каждый день вырабатывать полтора трудодня.

— А самое большее сколько?

— Это в вашей воле. Из нашей бригады Эргаш-бай, например, вырабатывает два с половиной трудодня.

— Два с половиной трудовых дня? — испугался Сыдык-джан и попытался представить себе этого самого Эргаш-бая. Перед его взором встал высокий, плотный человек, очень хмурый и нелюдимый, руки и грудь его густо заросли черными волосами.

— Два с половиной трудодня?..

— Да. А в колхозе „Новая жизнь“ один Йигит, Аширматов его звать, каждый день вырабатывает три с половиной — четыре трудодня.

— Четыре трудовых дня? — воскликнул Сыдык-джан и, сколько ни старался, так и не смог себе представить того Йигита.

— Сколько же он съедает?..

Сыдык-джан широко раскрытыми глазами, не мигая, смотрел на Балта-бая, и видно было, что он ожидал услышать от него что-нибудь из ряда вон выходящее. Балта-баю очень хотелось рассмеяться, но он сдержал себя.

— Сколько же может он съесть... Про того я не знаю, а наш Эргаш-бай за один присест съедает барана с головой, требухой и ногами, а шкуру на завтрак оставляет...

— Не может быть. И шкуру...

Убедившись, что Сыдык-джан и в самом деле поверил его словам, Балта-бай громко рассмеялся и показал ему Эргаш-бая, который сидел у очага и чинил свои чарики, то и дело поднося их к свету. Сыдык-джан застыл от удивления — это был щуплый, очень щуплый человек, тот самый, что в обед ударил Рузимата ложкой по лбу. Заметив, что Сыдык-джан заинтересовался Эргаш-баем, Балта-бай спросил:

— Что, не похож на человека, вырабатывающего два с половиной трудодня?

— Видно, это не зависит от роста...

— Почему, значение имеет и рост. Что у него плохой рост, что ли?

— Нет, рост у него подходящий, — уклончиво ответил Сыдык-джан, — только надо бы посмотреть, как он работает кетменом.

— Хотите к нему в ученики? — спросил Балта-бай.

Сыдык-джан улыбнулся: он был уверен, что Эргаш-бай не только не захочет учить кого-нибудь своему мастерству, а и кетменя не поднимет, если кто станет приглядываться к его работе.

— Станет он учить... — проговорил он.

Балта-бай расхохотался и кликнул Эргаш-бая. Тот откусил зубами дратву, еще раз поднес чарики к свету, затем сунул их подмышку и, лавируя между спящими, подошел к ним.

— Готовы чарики? — спросил Балта-бай, показывая место рядом с собой. — А где Рузимат?

— Уснул. Парень сегодня крепко попотел. Молодой еще, не умеет сдерживать разыгравшуюся силу, с самого начала возьмется горячо, и уморится. Кетменем надо работать ровно. А потом не нужно доводить себя до усталости. Когда разошелся, когда тебе кажется, что ты гору можешь в толочно истолочь, отдохни. Минуту, но отдохни.

Балта-бай тронул колено Сыдык-джана: смотри, мол, видишь, он не скрывает.

— Вон как, — сказал Балта-бай, чтобы разговорить Эргаш-бая. — Значит, говоришь, когда разоидется человек, нужно немного отдохнуть?

— Обязательно. Тогда человек не устанет и будет работать ровно с начала и до конца. Некоторые делают передышку, когда совсем выбиваются из сил. Так не годится...

— Вот Сыдык-джан хочет в ученики к тебе.

Эргаш-бай рассмеялся.

— Иначе говоря, потягаться со мной хочет! Какие могут быть в таком деле учителя и ученики.

— Почему! Через тебя сколько людей стали ударниками. Это и есть — учить.

— А через кого же я стал ударником? У кого есть сила в руках, у кого есть желание к работе, кого бедность и нужда за душу задела и он поверил, что из нашего дела выйдет какой-нибудь толк, тот и мастер. Тот и ударник. Все дело в том — надо-ели ли человеку бедность и нужда. Кто учил котенка плавать? А кинь котенка на середину реки и залюбуешься, как он поплывет... Увидел он берег, уверился, что это есть именно берег — и довольно.

Сыдык-джан не собирался вмешиваться в разговор, но слова Эргаш-бая насчет бедности показались ему не очень убедительными, и он спросил:

— А разве было время, когда бедность не задевала бы душу человека, и были ли такие люди, душу которых бы не задела бедность?

— Не было. Бедность такая штука, что во все времена и всем она была не мила. Но, Сыдык-джан, когда человек не знает пути, как избавиться от беды, ему кажется, что все равно небо далеко, а земля жестка, и он привыкает, так привыкает, что даже не замечает, задевают его душу бедность и нужда или нет... Теперь мы знаем дорогу, как избавиться от бедности, видим эту дорогу. Это и делает нас мастерами и ударниками и потому-то небо кажется нам таким близким, а земля мягкой.

Эргаш-бай стал говорить о том, как живут и как работают люди, ставшие на путь избавления от бедности. Каждое слово

этого человека просветляло душу Сыдык-джана и очишало ее от постоянного беспокойства, вызываемого видениями землянки в Лягушином заповеднике, черепка вместо лампы, Зуннуна-ходжи с его укорами. В разговор вмешался Балта бай. Они заговорили о том, какой колхоз сколько будет засеивать хлопка после окончания арыка, о заводе, который строится в Ташкенте и будет выпускать „белый жмых“¹, и насколько этот „жмых“ придаст силы земле.

Сыдык-джану так и не удалось довести до конца разговор с Балта-баем насчет табельщика. И все же он на второй день работал еще старательнее, ни о чем не думая, ни на кого не оглядываясь, даже позабыв о советах Эргаш-бая. На третий день табельщик вдруг выкрикнул его фамилию. Сыдык-джан, никогда не слышавший своего имени при таком стечении народа, даже вздрогнул от неожиданности, вздрогнул так сильно, что тут же обернулся: не заметил ли кто-нибудь его испуга. Ему казалось, что табельщик выкрикнул его фамилию громче и яснее других, и будго при этом все на какой то миг смолкли. То же самое повторилось и на второй и на третий день. Каждый раз, как только появлялся табельщик, сердце Сыдык-джана начинало учащенно биться. „Ну, мою фамилию можно было бы и не выкликать“ — говорил он про себя в такие минуты, однако, когда табельщик, выкрикнув, наконец, его фамилию, переходил к другим, у него являлось желание, чтобы тот повторил ее еще громче и еще яснее.

Сыдык-джан теперь работал с таким желанием, с таким рвением и к обеду так оывал голоден, что даже рыбу, причем вареную рыбу, которую особенно не любил, съедал с большим аппетитом и, сидя рядом с Рузиматом, даже похваливал: „Оказывается, хорошая рыба несколько не хуже курицы“.

Однажды во время обеденного перерыва Сыдык-джан по просьбе Зиеда-хан запрет ишака и поехал на реку за водой. На обратном пути он увидел, что все собрались под навесом около какого-то незнакомого человека лет тридцати, среднего роста, сухощавого, с коротко подстриженными усами. Не желая мешать беседе скрипом арбы и постеснявшись проезжать на глазах у стольких людей, Сыдык-джан остановил арбу поодаль. В это время собравшиеся у навеса захопали в ладоши, из толпы послышались возгласы: „Выполним! Выполним!“ Люди с шумом, с гомоном поднялись и тотчас разошлись, чтобы приняться за работу. На месте остался только приезжий и еще несколько человек, в том числе Балта-бай. Направляясь с арбой к очагу, Сыдык-джан кивком головы и движением бровей спросил у Зиеда-хан: „Кто этот человек?“ Та широко раскрыла рот, на какую-то долю секунды соединила губы и вытянула их трубкой, затем вскинула голову и повела бровями: мол, вот кто это! По движению ее губ Сыдык-

¹ Минеральные удобрения.

джан догадался: „Ахмедов“, и с удивлением оглянулся, так как представлял себе Ахмедова человеком высокого роста, представительным, лет под сорок пять. В это время Ахмедов, показывая на Сыдык-джана, что-то спросил у окружающих, и те посмотрели в его сторону. Балта-бай, стоявший позади всех, поманил его. Сыдык-джан сложил на груди руки и на цыпочках поспешил на зов.

— Опустите руки, — чуть улыбувшись, сказал Ахмедов и спросил: — Откуда вы?

— Из Отдельного хутора...

— Опустите руки.

Сыдык-джан опустил руки, но тут же, не зная куда девать их, сложил на животе.

— Мы привыкли так, мулла-ака...

Ахмедов усмехнулся:

— Привыкли. Перед кем же это вы привыкли руки на груди складывать? В Одиовом хуторе вы в колхозе были?

— Нет, мулла-ака, в колхоз я не вступал.

Помолчав, Ахмедов спросил:

— Урман-джан кем вам доводится?

— Никем...

Ахмедов оглядел его с ног до головы и больше ничего не спросил. Передав стоявшему рядом человеку бумагу, которую до того держал в руке, он принялся что-то подробно разъяснять ему. Сыдык-джан повернулся и повел ишака с арбой к очагу. Сгружая с арбы бочку с водой, он вспомнил вопрос Ахмедова: „Кем вам доводится Урман-джан?“

Почему Ахмедов спросил об этом? Что он хотел этим сказать? Неужели он хотел сказать: как мог Урман-джан открыть тебе сюда дорогу? Стараясь разгадать значение вопроса Ахмедова, Сыдык-джан строил все новые и новые догадки. Под конец он придал разговору с Ахмедовым такой злобеший смысл, что, сгрузив бочку и направляясь на работу, он не решился даже пройти мимо открытой стороны навеса. Ему казалось, что попались он на глаза еще раз Ахмедову, тот, ни о чем больше не спрашивая, прямо скажет: „Уходите отсюда, йигит. Урман-джан зря пообещал вам принять вас в колхоз.“

Сделав большой круг, Сыдык-джан обошел навес с закрытой стороны и направился к месту работы. Рузимат, работавший кетменем неподалеку, увидав его, что-то сказал и затем рассмеялся. Сыдык-джан, однако, ничего не расслышал. Он взял было в руки кетмень, но сердце его неожиданно дрогнуло: ему ясно представилось, будто Ахмедов склонился сейчас к Балта-баю и хрипло говорит что-то на его счет. Приподнявшись на цыпочки, Сыдык-джан тихонько выглянул из-за земляного вала. Ахмедов уже сидел верхом на лошади и, показывая ручкой гамчи в сторону канала, что-то говорил Балта-баю. Сыдык-джан взял кетмень, взмахнул им два-три раза. Кетмень, однако, опускался не туда, куда он метил; земля и ветер, посвистывавший в ушах, и люди, что с посылками проходили мимо, — все теперь раздражало его. Он

снова вышел на берег канала и открыто посмотрел в сторону стана. Ахмедов уже уехал, Балта-бай, опустившись на корточки, над чем-то склонился неподалеку от навеса. Облегченно вздохнув, Сыдык-джан вернулся на место, но никак не мог успокоиться — ему захотелось подойти к Балта-баю и расспросить его обо всем. Однако пока Сыдык-джан достиг навеса, Балта-бай сел на ишака и уехал. Останавливать его было неудобно. Да в этом и не было надобности: под навесом, расстелив супру¹, сеяла муку Зиеда-хан. Сыдык-джан полагал, что, если Ахмедов сказал о нем что-нибудь нехорошее, Зиеда-хан должна быть осведомлена об этом и, чтобы узнать ее настроение, решил пустить в дело шутку: „Если Ахмедов ничего не сказал плохого, — думал он, — Зиеда-хан ответит на мою шутку шуткой же, а если сказал, она или промолчит или ответит грубо“. Делая вид, что пришел пить, он присел около кувшина с водой и сказал:

— Вы, похоже, сегодня вечером собираетесь накормить нас пельменями, столько муки насыали.

Зиеда-хан ответила не сразу. Она раскрыла лежавшую сбоку узкую сумку, осторожно высыпала в нее из сита отруби, выбила сито, раскрыла мешок, насыпала в сито две-три пригоршни муки, снова закрутила мешок и затем, когда Сыдык-джан, с трепетом в сердце выжидавший ответа, уже решил было, что она с ним и разговаривать не хочет, повернулась и добродушно ответила:

— Что пельмени, Сыдык-джан ака! Я вам жирных манты² приготавлию. Как тесто — потоньше сделать или потолще?

Глаза Сыдык-джана сразу повеселели, словно у него внезапно утихла страшная зубная боль. Он так обрадовался, что даже забыл засмеяться словам Зиеда-хан.

Зиеда-хан налила из кумгана³ воды в чашку, бросила туда щепотку соли, помешала, попробовала пальцем на вкус, затем, засыпая горстью муки, сказала:

— Вы не принимайте близко к сердцу, но бывают всякие люди. Зимой, например, из колхоза „Рабочий“ выгнали человека, он оказался чуждым элементом из Острова Царевича.

Когда Зиеда-хан сказала „чуждый элемент“, перед глазами Сыдык-джана, как живая, встала дрожащая от злости теща со связкой купчих крепостей на землю. Неужели эта ведьма может согласиться, чтобы муж ее Зуннун-ходжа вошел в колхоз...

— Чуждый элемент разве пойдет в колхоз, — сказал Сыдык-джан вслух.

Занятая тестом Зиеда-хан искоса взглянула на него и усмехнулась:

— Найдет дорогу, так и пойдет.

— Хоть сам он и против колхоза, а?

— Именно потому, что против, и пойдет. Теперь уже „общий

¹ Супра — кожаная подстилка.

² Манты — крупные пельмени на пару.

³ Кумган — чугунный или медный кувшин для кипячения воды.

котел, из которого все едят, общие одеяла, под которыми все спят, общие жены“ не в ходу. Везде организованы колхозы, и каждый питается из своего котла, спит под своим одеялом, на чужих жен не зарится... Не так ли?

Сыдык-джан вспыхнул и низко склонился над кувшином, словно обнаружил в нем что-то необычайное.

— А раз так,— продолжала Зиеда-хан,— что после этого остается делать чуждому элементу? Теперь уже ничего такого не осталось, чем бы можно было напугать колхозника. Вот они, если есть возможность— в своем кишлаке, а нет такой возможности, отправляются в чужие кишлаки, пробираются в колхозы, и как мягкая метла,— мести метет, а везде сор остается,— стараются навредить колхозу: сам же навредит посевам и вот, говорит, видите, это наказание за колхоз, на такой хорошей земле и не вышло хорошего урожая; или оставит скот без корма и вот, говорит, корова у двух пастухов всегда с голоду подыхает, или старается расхолодить сердце людей к работе, перессорить людей друг с другом и потом— родные братья, говорит, из-за наследства ссорятся, как же могут мирно ужиться от семи колен чужие между собой люди; заболит у кого зуб, испортится погода, засохнет какой-нибудь старый тополь,— во всем виноват колхоз; если удастся разрушить колхоз, потом сам говорит: вот смотрите, все равно из этого дела ничего не выйдет. Поэтому-то колхозные двери и закрыты для таких людей. Они хотят, чтобы не было ни колхозов, ни нашей власти, а чтобы снова вернулось старое время, им бы в руки вернулась земля-вода, у порга бы ихнего, как раньше, батраки, а на поле чайрикеры работали, чтобы, как говорит товарищ Ахмедов, осенью было кому урожай им в амбар ссыпать, весной на поле навоз вывозить и ворота было кому раскрывать и закрывать.

На душе у Сыдык-джана стало спокойнее.

— Если так,— сказал он,— то, конечно, расспросы товарища Ахмедова очень уместны. Но Балта-бай ака сказал, наверно, ему: он, мол, человек не такой.

Зиеда-хан, не отрываясь от теста, усмехнулась и, будто в шутку, сказала:

— Балта-бай ака ваш и сам еще не знает, такой вы или не такой человек.

— Как, Зиеда-хан апа, как не знает?

Зиеда-хан не заметила, что Сыдык-джан был напуган и пал духом.

— А откуда ему знать?

Сыдык-джан долго сидел молча, затем хмыкнул носом и покачал головой.

— В детстве мне часто приходилось жить у чужих порогов по разным местам и, куда бы я ни пришел, ребята не принимали меня в свои игры, считали пришлым. Дальше— больше, и ребята нашей общины тоже перестали принимать меня в свои игры как пришлого. Сказывалось мое бродяжничество, хотя я и не по своей воле

удобного случая и на второй день. На третий день из района прибыли артисты и при свете четырех костров устроили большой концерт. И вот, когда они возвращались с концерта и Сыдык-джан раздумывал, с чего бы ему начать, Балта-бай неожиданно заговорил об этом сам.

— Товарищ Ахмедов наделал вам много беспокойства, а? — сказал он, улыбаясь. — Этот человек не скажет: того-то примите в колхоз, а того-то не надо, он в эти дела не вмешивается. Кого принять в колхоз, кого исключить — это дело самих колхозников. Товарищ Ахмедов советовал нам руководствоваться этими правилами и не нарушать их, и только.

Сыдык-джан так обрадовался сказанному Балта-баем, что даже растерялся.

— Кулдук¹, Балта-бай ака, кулдук — проговорил он торопливо, хотя сам не знал, за что благодарит Балта-бая.

— А правила такие, — продолжал спокойно Балта-бай, — вы должны подать заявление в правление колхоза. Правление рассмотрит ваше заявление, а затем поставит его на обсуждение всех колхозников. И что скажут колхозники, так и будет.

— Но меня здесь никто не знает, как с этим быть?

— Вы сейчас сами себя показываете. Уже сейчас мы видим, что вы из тех йигитов, которые не знают, что такое лень и что такое хитрость.

— Среди этих людей лентяй сразу будет виден, как вор, Балта-бай ака. Но я о другом, о прошлом говорю... никто не знает...

— А вы же сами и расскажете нам.

— Урман-джан ака кое-что знает. А еще кому рассказывать нужно будет?

— Всем, на собрании расскажете.

Сыдык-джан испугался.

— Я и сам, значит, должен быть на том собрании?

Заметив его испуг, Балта-бай улыбнулся.

— А как же!

— Нет, вы правду скажите, Балта-бай ака, не шутите...

— Я не шучу. Раз колхозники будут поднимать руки, должны они знать, кого принимают. На собрании вы встанете, прежде ответите на вопросы, потом расскажете все по порядку с самого начала: кто вы, чем занимались...

Сыдык-джан представил себе, как целая сотня человек смотрит на него, ожидая, что он скажет, и забеспокоился еще больше. Балта-бай, однако, этого не заметил; занятый своими мыслями, он до самого навеса не проронил больше ни слова. Под навесом — огонь в лампе угас, все вокруг занято приготовлением ко сну, кое-кто уже спит. Сыдык-джан подошел к лампе и подвернул фитиль.

— Что, вы не хотите ложиться? — спросил Балта-бай.

¹ Кулдук — благодарствую.

Сыдык-джан опустился на корточки, прислонился к столбу на веса и с усилием улыбнулся.

— Вы мне в сердце смятение заронили, Балта-бай ака.

— Как это? Что я сказал такого...

— Я такой йигит, что на людях „чаю!“ в чайхане громко не крикну.

Балта-бай рассмеялся и присел рядом.

— О, здоровья вам хорошего...

— Нет, правда, Балта-бай ака, с этой стороны дела вы сами как-нибудь сделайте... Я все вам расскажу. И Зиеда-хан апа, наверное, вам уже говорила. Урман-джан ака тоже кое-что знает.

— Выходит, я должен за вас рассказать?

— Братец дорогой! Сделайте доброе дело. Я тоже в конце концов... не забуду вашу доброту.

— Вы должны сами рассказать. Учитесь.

Сердце Сыдык-джана сжалось.

— Э, братец, зачем мне учиться, что мне, проповеди говорить?

— Конечно, раз вы в колхоз вступаете, надо и говорить хоть немного уметь. Без этого дело не обойдется.

— А я во всех делах кетменем обойдусь.

— Почему же тогда у Зуннуна-ходжи вы не сумели кетменем обойтись? — улыбнулся Балта-бай. — Что вы, не умели тогда кетменем владеть?

Балта-бай еще хотел что-то сказать, но Сыдык-джан перебил его:

— Там я был на положении батрака.

— А кем вы собираетесь быть, когда вступите в колхоз?

— Когда в колхоз вступлю, кем же мне быть, вот в ряду с этими людьми колхозником буду, сам себе хозяином буду.

— А колхозу? Колхозу хозяином не будете разве?

Сыдык-джан улыбнулся.

— В ряду с другими и мы конечно... — проговорил он, но сказать „буду хозяином“ не решился. За него договорил Балта-бай.

— И вы будете хозяином. А человек, который является хозяином, должен думать обо всех нуждах своего хозяйства, болеть душой за него. Человек этот должен советоваться, выслушивать советы, сам высказываться, учить, учиться, спорить... Товарищ Ахмедов говорит: колхозник, который думает только о работе кетменем и о своем доходе и не участвует во всех колхозных делах, ничем не отличается от хорошей лошади. Допустим, что какой-нибудь руководитель колхоза задумал какое-нибудь дело и из всех колхозников только вы поняли, что это дело неподходящее, и допустим, что дело это поставили на обсуждение собрания, что же вы, скажете, я, мол, не умею говорить, и будете только глазеть? Нет, вам нужно будет говорить, нужно будет разъяснить и тому руководителю и всем людям и сумеет доказать справедливость вашего мнения.

Хотя у Сыдык-джана при одном слове „собрание“ сердце обры-

валось и билось где-то в спине, слова Балта-бая только вы поняли" очень пришли к нему по душе и он улыбнулся:

— Мало-помалу научимся и мы, Балта-бай ака.

— Об этом я и говорю. Я вовсе не хочу сказать, что вы сразу должны стать агитатором... Оху! Уже и луна поднялась. Давайте ложиться..

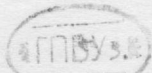
Над линией далеких адыров величественно поднимался огромный круг луны. В тусклом красноватом свете ее и адыры и деревья казались вылитыми из черного воска. Вокруг тишина. Только из-под навеса доносился дыхание множества людей и чье-то мерное похрапывание. Балта-бай встал, с силой потянулся и направился в сторону очага Там, за конной янтака, его уже давно ожидала постель, приготовленная Зиеда-хан. Сыдык-джан потушил свет, затем, прихватив одеяло, прошел за камышовую стену навеса. Раствояв одеяло под открытым небом, он растянулся и моментально уснул.

Если не считать беспокойства, которое овладевало им каждый раз, как только на память приходило предстоящее собрание, и навязчивой мысли при встречах с людьми — и этот будет, наверное, говорить на том собрании", — Сыдык-джан, начиная с этого дня, совсем успокоился и воспрянул духом. Теперь он не чуждался людей, как в первые дни, не выбирал, с кем поговорить или с кем сесть за обедом. Во время отдыха он присоединялся к первой подвернувшейся группе, обменивался шутками, слушал и сам рассказывал анекдоты о похождениях Насретдина Афеңди, а когда разговор касался дела, поддерживал, правда, пока робко, ту или иную сторону в споре и высказывал, что думал об этом сам.

Когда вернулись люди, уезжавшие на прополку и окучку хлопка, на всех участках строительства канала работа снова оживилась. Все колхозы, стараясь наверстать упущенное время, соревновались друг перед другом, перевыполняя план. В районной газете стали часто писать о работе колхозов, бригад, звеньев и даже отдельных участников строительства; областная газета напечатала портрет ударника Тюрякула Мамаджанова, члена колхоза "Красный солдат"; из района часто стали наезжать уполномоченные. Сыдык-джану казалось, что об окончании канала заботились не только те, что работали на строительстве, но и все люди всего района. Сам он работал с таким рвением, что порой сам удивлялся, как много может сделать один человек. Он очень уставал, поэтому, как только вечером добирался до постели, сейчас же засыпал мертвым сном.

Ко времени второй окучки большинство колхозов сделало на строительстве гораздо больше, чем предполагалось. Земляные работы на участке плотины были закончены; необходимое для плотины количество камня было подвезено; окрашенные в красный цвет железные ворота плюза со всеми деталями и мелочами лежали здесь же, неподалеку в траве.

За два-три дня до отъезда людей на окучку вечером приехали две медсестры и сделали всем какую-то прививку. После укола



Сыдык-джан почувствовал себя разбитым и пришел с работы немного раньше срока. Вечером он насильно заставил себя съесть ужин и, не сказав никому ни слова, лег в постель. Наутро у него поднялась температура и так как после уколов ни с кем ничего такого не случилось, то Балта-бай привез к нему врача. Сыдык-джан, в жизни никогда не показывавшийся докторам, ожидал, что пожилой седовласый врач, казалось, знавший средства от любой болезни, тщательно, со всех сторон, осмотрит его, найдет у него тысячи всяких недугов и даст не одно, а сразу несколько лекарств. Доктор, однако, только подержал его за руку и, не дав никакого лекарства и даже не сказав ничего определенного, повернулся и уехал. Сыдык-джан понял это так, что его и осматривать и давать ему лекарство уже бесполезно. Перед его глазами встал табут¹, покрытый светло-желтым джайнамазом² и полосатым халатом, плачущая мать, и он разрыдался. Он подумал, повидавшись с Урман-джаном, с его помощью выехать к матери и, чтобы никого здесь не затруднять, вернуться только после выздоровления. Балта-бай пообещал отвезти его на лошади в кишлак. Вечером Сыдык-джан отправился в Кюпсанчи.

СТРАХИ СЫДЫК-ДЖАНА

Всю дорогу до самой Низины Куги Сыдык-джан тешил себя надеждой: сойдет он с арбы, тут же опишет Урман-джану свое положение, поведаст ему о своих намерениях: Урман-джан, оказавший столько доброты и внимания, когда видел его впервые, посмотрит на него и на этот раз отнесется к нему еще с большей добротой и вниманием — с этой же арбой отправит его в Отдельный Хутор, сам выйдет проводить и, прощаясь, обязательно назовет: „Выздоровлявай и возвращайся без всякой задержки“.

Размечтавшись, Сыдык-джан совсем было упустил из вида жену Урман-джана и обстоятельства первой встречи с ней. Однако достаточно было ему сойти с арбы и очутиться на прогалине, как сердце его заколотилось в груди, словно пойманый воробей; ему снова вспомнились прежние сомнения: заметила она что-нибудь тогда или нет?

Последнее время Сыдык-джан утешал себя мыслью, что жена председателя не заметила, как он к ней отнесся тогда, и почти уверил себя, что с этой стороны ему не грозит никакой опасности; однако сейчас ему казалось, что, как только он появится, жена Урман-джана нахмурится, а может и еще хуже — в присутствии мужа скажет что-нибудь оскорбительное и затем тут же расскажет все, как было.

Сыдык-джан долго стоял на прогалине: вокруг — тишина, лишь где-то неподалеку поскрипывает кузнечик. Решившись, наконец, он на цыпочках подошел к уже знакомому навесу и осторожно заглянул внутрь.

¹ Табут — погребальные носилки.

² Джайнамаз — молитвенный коврик.

Под навесом, навалившись грудью на стол, сидела над книгой жена Урман-джана Тухта-ниса и при тусклом желтоватом свете чирака неуверенно, как школьница, растягивая по складам, тихо читала: „ола — мола, оламон — ола“.¹ Услышав шорох шагов, она подняла голову и встала из-за стола.

— Кто?.. Кто там?
Сыдык-джану волой-неволей пришлось показаться.

— Это я... А где Урман-джан ака?

Это было сказано таким тоном, что Тухта-ниса невольно сделала несколько шагов к выходу.

— Что? Что случилось? — спросила она испуганно. Присмотревшись к вошедшему, она узнала Сыдык-джана. — Проходите... Что случилось?..

— Все спокойно... У меня дело к Урман-джану ака. Где он?

— Под вечер вышел с председателем урожайного совета. А когда вернется, не знаю.

Сыдык-джан стоял ослабевший и растерянный. Тухта-ниса заметила, наконец, его состояние.

— Вам нездоровится? — спросила она. — Присядьте.

Сыдык-джан присел на краешек табурета, который стоял у стола, и опустил голову. Что делать? Не теряя напрасно времени, повернуться и уйти? Сыдык-джан представил себе, как он, еле передвигая ноги и спотыкаясь на каждом шагу, один идет темной ночью по безлюдной полевой дороге. „Горсти праха моего, видно, суждено затеряться в степи“, — подумал он и на глазах у него заблестели слезы.

Тухта-ниса напугалась.

— Что случилось? — снова повторила она свой вопрос. — Что с вами?

Прошло немало времени, прежде чем Сыдык-джан овладел собой.

— Не знаю, — боясь расплакаться, торопливо заговорил он. — Женщины-доктора кололи иголкой, может яд с той иголки...

Голос Сыдык-джана дрожал.

— Не бойтесь, — попыталась успокоить его Тухта-ниса, — после укулов кое с кем бывает вот так. Я сама три дня вылезала. Приляте на кровать.

Ни по лицу Тухта-нисы, ни по ее движениям Сыдык-джан не заметил ничего такого, что бы подтверждало его страхи. Тухта-ниса вышла и вернулась с чайником в руках. Выпив пиалу горячего чая, Сыдык-джан почувствовал себя несколько лучше.

— Я хотел в свой кишлак проехать, — не глядя на Тухта-нису, проговорил он. — Хотел сказать Урман-джану ака, что вернусь потом, если алах пошлет исцеление... А Урман-джана ака нет, оказывается. И я не знаю теперь...

— Вы сейчас хотели ехать? — удивилась Тухта-ниса. — Ночью,

¹ Дословно: „пестрый — борона, голпа — пестрый“, обычные для узбекского букваря упрощения.

да еще в таком положении, разве можно выезжать в дорогу?! Сегодня полежите здесь, а завтра, если не поправитесь и пожелаете уехать, будет видно.

Сыдык-джан подумал — и в самом деле, будь сейчас даже и Урман-джан, все равно спрашивать у него арбу в такое время было бы неудобно. Он решил провести эту ночь здесь и некоторое время сидел, выжидая, когда Тухта-ниса еще раз предложит ему прилечь. Когда молодая женщина повторила свое предложение, Сыдык-джан, застонав, поднялся с табурета и улегся на кровать.

— Продолжайте читать, я вас оторвал от книги, — виновато проговорил он.

Тухта-ниса сконфуженно улыбнулась.

— Чтоб его с таким чтением. Это все ваш Урман-джан ака. Сколько говорила: язык мой затвердел, теперь ничего не выйдет... куда там. И слушать не хочет: „Если ты не будешь учиться, — говорит, — то как же я других буду заставлять“. Я еще ничего, а вот стариков возьмите — бедняги сидят, бородами потряхивают, „ола — мола“ твердят.

Сыдык-джан незаметно взглянул на Тухта-нису — не подвох ли это какой, что она так разговорилась, ведь он не рассчитывал лишнего слова услышать от нее. Тухта-ниса смотрела на него и улыбалась. Сыдык-джан смутился.

— И старики, говорите, учатся? — поспешил спросить он.

— Да, все. И старухи тоже. Первое время было очень интересно: все стесняются; кое-кто, чтобы скрыть смущение, выделывал всякие штуки. Есть у нас один старик, Закир-ата, так он в первый день на прутике верхом приехал с сумкой за плечами. А потом привыкли. — Тухта-ниса помолчала. — Когда подумаешь, — продолжала она, — и не плохо все это; сидит человек здесь, прочитал газету и знает, что в Ташкенте, в Москве делается. Сейчас школьные дела у нас приостановились, потому что много людей на рынке.

Нельзя было понять — рассказывала ли жена председателя все это потому, что хотела занять больного гостя, или потому, что сама стеснялась своих „ола — мола“, но было ясно, что на сердце у ней нет никакого зла. Сыдык-джан уже начал успокаиваться, но тут настроение его снова было испорчено, и причиной тому явилась Тухта-ниса. Чтобы взять книгу, отодвинутую на противоположный угол стола, ближе было пройти мимо Сыдык-джана, а Тухта-ниса обошла стол с другой стороны, из чего было видно, что она, по пословице: „если сосед — вор, лучше остеречься“, опасалась и не доверяла ему.

Снаружи послышался чей-то возглас: „Урман-джан ака!“ и вслед затем в дверях показалась ухмыляющаяся физиономия.

Тухта-ниса поднялась навстречу пришедшему.

— Заходите, Таджи бай ака, — проговорила она. — Пожалуйте сюда.

Таджи-бай, шагая, не подставь грузному своему телу, по-кошачьи мягко, подошел к столу, положил на него узелок, который

держал в руке, и, обернувшись в сторону Сыдык-джана, выпучил глаза.

— Ийе! — воскликнул он с таким видом, словно готов был броситься к кровати. — Что случилось? Это Урман-джан ака?

— Нет, гость, — довольно холодно ответила ему Тухта-ниса.

— Вон как.. А я испугался, — выговорил Таджи-бай так, будто у него отлегло от сердца, и три раза сплюнул от глаза за широко открытый ворот рубахи. — А я напугался — только сегодня видел его, думаю.. Не приведи аллах... Гость говорите?

Не решившись больше повторить „гость“, Тухта-ниса сказала:

— Сыдык-джан заболел.

Таджи-бай склонился над кроватью и заглянул Сыдык-джану в лицо.

— Э, что с вами, приятель? — проговорил он равнодушно и, не ожидая ответа, обернулся к Тухта-нисе. — Так это он — этот человек должен перейти в дом тетушки Анзират?

— Да, этот человек.

Таджи-бай снова заглянул в лицо Сыдык-джану, затем, помолдав, спросил:

— А Урман-джан ака уехал, что ли, куда?

— Нет, вышел куда-то. У вас дело к нему? — спросила Тухта-ниса.

Таджи-бай присел на табурет и, словно на память ему пришло что-то чрезвычайно интересное, рассмеялся.

— Чудной человек этот Урман-джан ака, очень чудной! — воскликнул он, и тут же вместо того, чтобы пояснить, что он нашел странного в председателе, заговорил о том, какой Урман-джан умница, стал уверять, что при таком умнице-председателе будет процветать любой колхоз и что после того, как Урман-джан переехал в их кишлак, изменился, кажется, даже воздух Капсазичи. Затем он стал распространяться в том смысле, что силы Урман-джану придает его семья, семейное его счастье, из чего можно было сделать вывод, что если Урман-джан сделал Два Чинара Двумя Чинарами, то Урман-джана сделала Урман-джаном его жена.

Тухта-ниса, пока речь шла об Урман-джане, считая слова Таджи-бай привычной для него лестью, слушала спокойно, когда же тот заговорил о ней самой, смутилась.

— Я что.. Разве дело во мне...

Таджи-бай, однако, не унимался.

— Жена, я хочу сказать хорошая жена, — шея для головы мужчины, — продолжал он убежденно. — Шея может и на хорошее повернуть, может и на плохое повернуть. Не так ли? — обернулся он к Сыдык-джану.

Сыдык-джан, приподнявшись на локте, согласно качнул головой, еще бы.

— Вот если бы все женщины были такими, как вы! — восхищенно проговорил Таджи-бай, снова обращаясь к хозяйке.

— Что я такого... — Тухта-ниса смущенно опустила глаза.

Таджи-бай не дал ей договорять:

— Сахару вам в рот. Урман-джан ака ведь не выходит за черту, которую вы ему прочертите? Не выходит. Или выходит? Тухта-ниса перестала улыбаться.

— Почему? Воля в его руках..

Заметив в голосе молодой женщины нотки холодности, Таджики-бай поспешил смягчить свои слова.

— Верно, воля в его руках, но он советуется с вами и делает все по вашему совету. Разве он не послушается, если вы дадите ему хороший совет. Это и есть, что он следует по указанной вами дорожке и не выходит за черту, какую вы ему прочертите.

— Хорошего совета каждый послушается, — сказала Тухта-ниса.

— Слова ваши справедливы, только хороший совет не каждый может дать. У наших жен не то что хороший совет, слово толковое в редкость, как лицо сказочной птицы анко.

Таджи-бай принялся хулить свою жену: мешок с кукурузой не завяжет до тех пор, пока кукуруза не станет на пол сыпаться, воду греть начнет, обязательно прольет, под носом у сына постоянно блестит, сама до поту работает, а если табельщик не запишет трудовня, и слова не скажет, начнешь ее настаивать, зевает, от волос у ней несет, будто от сумки из-под сюзьмы...

— И самой ей трудно, и мне с ней трудно, — говорил Таджики-бай. — Очень трудно. Надежда только на вас, сестрица...

Тухта-ниса, не в силах скрыть улыбку, опустила голову.

— Я что... что я могу сделать...

— Вы, сестрица, должны с нею подвизаться. Окажите милость. Да, чуть не забыл, невестка ваша передала вам урюка. — Таджики-бай развязал узелок, протянул две урючины Сыдык-джану, а остальное пододвинул Тухта-нисе. — Хороший урюк, — продолжал он. — Когда арык закончим и будем обзаводиться садами, обязательно от этого урюка саженцы посадим. Так вы так и сделайте, сестрица, выведите в люди вашу невестку. Такой женщине, как вы, это ничего не стоит. Для вас это вовсе не составит труда. Пусть она всегда будет при вас — и довольно. Человек от человека хорошее перенимает, вот в чем все дело. Это и сама невестка ваша понимает. Если бы я постоянно была с сестрицей Тухта-нисой, — говорит она, — я бы и делу научилась и говорить научилась, стала бы сознательной женщиной. Будет она с вами в одной бригаде, и больше ничего не нужно. Я об этом хотел поговорить с Урман-джаном ака, но, думаю, если он скажет „нет“... он так не скажет, конечно. Но допустим, вдруг он сказал бы „нет“, тогда и вам говорить было бы уже неудобно. Вот я и помолчал до поры. Лучше будет, если вы сами скажете ему об этом. Сделайте так, скажите ему потихоньку. Вашего совета он послушает, потому — он никогда еще не ошибался в ваших советах. Хоп?

После всего того, что наговорил Таджики-бай, Тухта-ниса не решилась сказать, что она никогда не вмешивалась в дела мужа; она и сама не заметила, как у ней вырвалось:

— Хоп...

Таджи-бай, словно он был вполне уверен в том, что молодая женщина уважит его просьбу, независимо от того, скажет она „хоп“ или промолчит, будто и не слышал ответа, обернулся к Сыдык-джану.

— Плохо, что вам нездоровится, приятель. Когда же вы собираетесь переходить к тетушке Анзират?

— Я хотел сначала побывать в своем кишлаке и вернуться, когда поправлюсь, — ответил ему Сыдык-джан, опуская голову на подушку.

Таджи-бай широко открыл глаза, словно услышал что-нибудь необычайное, и взглянул на Тухта-нису. Занятая своими мыслями, молодая женщина смотрела в другую сторону и даже не слышала слов Сыдык-джана, и все же Таджи-бай кивнул ей головой: „Понимаете, мол, какое тут дело...“

— Вон как! — обернулся он к Сыдык-джану и взглянул на него так, словно ожидал от него услышать о вещах еще более удвительных. — А кто у вас там есть в кишлаке?

— Мать есть, братишка есть.

На лице Таджи-бая сразу же появилось выражение грусти и сочувствия.

— Ух-ух-ху. Мать. Бедная, что ей снится сейчас? И дом у вас там есть?

На глазах Сыдык-джана навернулись слезы.

— Есть, — проговорил он тихо.

— Ийе. Если у вас и мать и дом есть... Так это же целое богатство! Зачем же вам странствовать. И сами вы, что бесприютный странник, и мать ваша — тоже... Сейчас это пока незаметно — вы только что прибыли, а когда вы один будете жить в пустом доме, приляжете вот так на постели, а вам и глотка воды подать некому, застонете, а к вам и подойти, о здоровье вашем спросить некому... Что может быть хуже этого? Да и тетушка Анзират — женщина с черствым сердцем, и по делу и без дела шумит, и дом у нее скорее на могилу похож.

Таджи-бай еще долго говорил о том, как плохо быть одиноким, вспоминал всякие изречения по этому поводу, попутно упомянул, как плохо относятся друг к другу теперешние люди, подробно написал характер и привычки тетушки Анзират, рассказал, с кем и из-за чего она ссорилась и что говорила. При этом он всячески старался выразить Сыдык-джану свое сочувствие — то шупал его лоб, то поглаживал руку. Перед глазами Сыдык-джана рисовались темная и узкая, как могила, хижина, злая и коварная старуха, очень напоминавшая его тещу. Вот он лежит больной, к нему никто не подходит, он умирает, четыре человека с четырех сторон несут ничем не прикрытый табут, в котором и подостлана-то одна только бердана — это его несут на кладбище. Сыдык-джан до того расстроился, что готов был, не дожидаясь Урман-джана, сейчас же пешком отправиться в Отдельный Хутор.

Таджи-бай испустил глубокий вздох и, наконец, поднялся. Тухта-нису вышла его проводить. Когда она возвратилась, Сыдык-джан полулежал, приподнявшись на локте, и молча сжимал рукой лоб.

— Что с вами, Сыдык-джан ака? — спросила озабоченно Тухта-ниса.

— Ничего...

Чтобы скрыть слезы, Сыдык-джан принялся потирать рукой лицо.

— Вы его не слушайте. Все это он говорит потому, что боится, как бы вы не перекочевали к тетушке Анзират. У тетушки Анзират живет одна женщина одинокая, Канизяк, и я слышала, что он, пропасть ему, интересуется ею. Все это он нарочно говорил вам, чтобы вы туда не перекочевали. И тетушка Анзират вовсе не из таких, что за дело и без дела ссорятся со всеми, и дом у нее не хуже, чем у других.

Так как Тухта-ниса упомянула только о тетушке Анзират и ее доме и вовсе умолчала о возможных неудобствах жизни в одиночестве, то у Сыдык-джана промелькнула мысль: „Этому человеку едва ли есть смысл бояться, что я перейду туда, а вот ты наверняка боишься, как бы я не задержался у тебя лишних три-четыре дня, потому что думаешь — если сосед вор, надо поостеречься“.

Сбитый с толку этими мыслями, Сыдык-джан ничего не ответил на слова хозяйки. Скоро он задремал. Проснувшись через некоторое время, он увидел склонившегося над его кроватью Урман-джана. От неожиданности глаза его широко раскрылись и он сделал попытку подняться. Урман-джан, однако, придержал его за плечи.

— Лежите, лежите, — сказал он, присаживаясь рядом на кровать, — что случилось? Укол не по нраву пришелся? Это ничего. Не вы один, еще семь человек вот так же слегли... Хорошо, хорошо, я рад. Не тому, что вы больны, а тому, что вы оказались хорошим йигитом. Баракалла. А вы, похоже, очень напугались. Очень вы пугливы, видно, а? Ничего, к утру поправитесь.

Сыдык-джан, уставившись, смотрел на Урман-джана. Вид у него был такой, что председатель подумал, не сошел ли он с ума.

— Что вы так? Что случилось? — спросил он, встрахивая его за плечи. — Разум у вас на месте? Что у вас болит?

Убедившись, наконец, что в отношениях к нему Урман-джана не произошло, видимо, никаких изменений, Сыдык-джан обрадованно улыбнулся.

— Ничего не болит, мне стало лучше.

— А что же вы так таращите глаза?

— Я не таращу... Заждался вас и уснул.

— Хоп!

— Я в кишлак было собрался.

— В таком положении? Зря говорите.

Сказанное с сердцем „зря говорите“ начисто смыло все сомнения и страхи Сыдык-джана. Он облегченно вздохнул.

— Хотел, пока поправлюсь, побыть дня два-три...

— Зачем, здесь разве нельзя поправиться?

— Можно... Но в кишлаке у меня мать, братишка есть.

— Хотите сказать, что здесь у вас никого нет? И только поэтому хотели поехать?

Сказать, что его пугает одиночество, странничество, как говорил Таджи-бай, Сыдык-джан не решился. Похоже было, что Урман-джан в этом случае или сильнее рассердился бы или громко расхохотался.

— А что же еще могло быть? — ответил он вопросом на вопрос.

Урман-джан, почесывая кадык, задумался, затем вдруг спросил:

— Только поэтому?

— Да.

— Вы правду говорите? Если...

— Нет, — проговорил Сыдык-джан, поднимая голову, — кроме этого пусть ничего не приходит вам на ум. Спросите всех, Зиедан апа пусть скажет. Если на душе у меня...

— Знаю, знаю, если бы вы собирались уйти отсюда, вы так не работали бы. Но лучше еще раз спросить.

— Нет, Урман-джан ака, я ведь вам еще не говорил, вы еще не знаете, что у меня на душе. Я собирался поехать, потому что думал, может надолго слягу...

— А если бы вы и надолго слегли, что с того?хлопот о вас на стольких людей и по одному золотнику не пришлось бы. Потому — это колхоз, да, колхоз. На этот счет не беспокойтесь.

— Что бы со мной ни случилось, я здесь, с этими людьми останусь, Урман-джан ака. Вы причиной тому, что я снова свое стадо нашел. Я еще не говорил вам, вы не знаете, что у меня на душе.

— Я, придет время, узнаю, что на душе у вас, а вы узнаете, что значит колхоз. Сейчас вы никуда не поедете. Поехать как-нибудь в кишлак, успокоить мать, надо, конечно, но не сейчас. Я потом сам скажу. Хоп?

— Хоп. Пусть аллах не оставит вас своей милостью...

Урман-джан поднялся. Сыдык-джан хотел было спросить, не найдется ли другого дома, кроме дома тетушки Анзират, и уже раскрыл было рот, но промолчал. Урман-джан заметил это.

— Ну, что вы хотели сказать? — спросил он.

— Я и в самом деле, похоже, до завтра поправлюсь. Сейчас мне уже лучше. И жар не такой уже.

— Конечно, — сказал Урман-джан, трогая ему лоб, — вы очень трусливы, оказывается. Неужели все приемные зятя такими пеленками становятся?

Сыдык-джан рассмеялся.

— Я ничего не боюсь, Урман-джан ака... Да, вы уже переговорили с тетушкой Анзират?

Урман-джан быстро взглянул на него.

— Вы уже и звать ее знаете как? Тетушка Анзират тоже при каждой встрече справляется о вас.

Чтобы узнать его намерение, Сыдык-джан сказал:

— Я думаю завтра туда перебраться.

— Посмотрим, поправитесь если, переберетесь, — ответил Урман-джан и тут же вышел.

Сыдык-джан никак не ждал такого ответа и был изрядно напуган. Неужели он, хоть приличия ради, не мог сказать с этим, мол, еще успеется. Хорошо, что я не заговорил насчет другого дома. Раз он торопится сбыть меня, выходит, жена ему рассказывала, не все видно, но все-таки рассказала.

— Аттанг!¹

Сыдык-джан ударил себя кулаком по лбу и завернулся в одеяло.

Перевел с узбекского Н. Ивашев.

Продолжение следует.

¹ Аттанг — досада.

НА ПЕРЕПРАВЕ

Дальний берег пустынный с утра золотой,
Гурт овец, и верблюдов, и коз, и коней
Щедро залит был солнцем. Цвели пестротой
Ситцы женщин среди белых прибрежных камней.
Загудел, точно колокол, старый канат.
Парус щелкнул под ветром; скупой на слова
Каючки вдруг запел, и в той песне был рад,
Что речная вода тяжела, как смола,
Что волнам он, и чайкам, и бурям знаком,
На просторах реки его воля — закон,
Что на многие версты вокруг лишь ему
И людей и какк доверяет Аму.
От бортов доносился воды переплеск.
О корму била хлестко, упруго волна.
Звонко пел каючки, был в глазах его блеск,
И простая душа была счастьем полна.
С уважением слушали песнь старики.
Зной халата из шерсти верблюжьей на нем
Обжигал. Даже здесь, на середине реки,
У прохладной воды, солнце жгло как огнем.
Смыло пену забот, и поплыло в груди
Ощущенье хмельное простора воды.
Только блеск, да упругая гладь впереди,
Да кривая полоска песчаной гряды.
И цветет и волнуется берег вдали...
И приблизился парус к нему наконец.
Берег встретил дыханьем хорезмских долин,
Нарастающим гамом, бляевьем овец.

СОДЫК КАЛАНДАР

МЫ НА УРАЛЕ

Повесть

Окончание*

II

В этот день у них не было серьезного разговора о том, какое решение они выберут: будут ли хлопотать, чтобы Туфахон отпустили с завода и уедут в Ташкент, домой, или останутся здесь.

Об этом никто не начинал разговора.

Было ясно одно, что Ботыр ни сегодня, ни завтра не собирается уезжать. Поэтому поговорили только о том, как ему лучше устроиться с квартирой. Серафима Ильинична, выставляя вполне убедительные доводы, что ему нужен сейчас уют, покой и, главное, уход, уговаривала его остаться у нее (Туфахон хранила в это время молчание). Она обещала отгородить для него угол. Но Ботыр ни за что не хотел согласиться на это.

Решили, что лучше всего (эту мысль поддержала и Туфахон), Ботыру поселиться с трудармейцами в бараке, поэтому он в тот же день, без всякого труда получив разрешение, перебрался в барак, где жили Шодмон-палван, Халил Расулев, Мамадлы и другие его земляки-трудармейцы.

Ботыру здесь было весело. Каждый вечер, собрав вокруг себя большой кружок слушателей, он до поздней ночи рассказывал им о разгроме немцев под Москвой, о сражениях, в которых участвовал, о том, как они ходили в разведку, о Сталинградских боях, о своем односельчанине Кадыр-али Шарапове, который умер от ран в санитарном поезде. Шодмон-палван и Халил рассказывали

* См. „Звезда Востока“ № 10-11 и 12—1946 г.; № 1, 2-3, 4, 5—1947 г.

ему в свою очередь о том, как они ездили в Узбекистан, добывали в Беговате, где строился большой металлургический завод, на Фархадстрое, на Ташкентском текстильном комбинате имени товарища Сталина, на военных заводах, которые были эвакуированы сюда в первые месяцы войны, и в его — Ботыра Сабирава — родном колхозе, где им преподнесли множество подарков и, между прочим, тот халат и тюбетейку, в которых Ботыр сживал сейчас с ними по вечерам. С особенным интересом Ботыр расспрашивал Шодмон-палвана о том, как он стал сталеваром, и в эти минуты глаза его становились задумчивыми и глубокими, словно он вовсе и не слушал Шодмон-палвана, а думал о чем-то своем.

С Туфахон Ботыр виделся ежедневно.

Как-то уже в середине июня, в один из выходных дней, они в компании с Шодмон-палваном, Халилом Расулевым, Олей Протасовой, Иваном Павловичем, Зайнаб и Мустафой Ризаевым решили выехать за город, отдохнуть, покататься по озеру на лодках и сварить на берегу плов. Рано утром, прихватив с собой все необходимое для плова, а также патефон, они собрались на одной из трамвайных остановок, доехали до черты города, затем прошли еще километра два пешком и часам к одиннадцати уже были на месте, на берегу озера.

Жара еще не начиналась, и купающихся было мало. Изредка по голубой глади озера скользили лодки, бороздя точно засыпавшую поверхность воды. Только далеко справа, где солнце, поднявшееся из-за леса, пригревало особенно сильно, купалась группа школьников, с веселым криком, визгом и смехом перебрасывая по воде из рук в руки большой разноцветный мяч. Слева возле голубого домика водной станции, утопающего в зелени, стояли три человека, желающие, видимо, получить лодку.

Друзья выбрали тихую зеленую лужайку, где вековой сосновый бор подступал к самому берегу. И тотчас же каждый из них нашел для себя дело. Шодмон-палван, засучив рукава чистой коломенковой рубахи, принялся сооружать очаг из жженных кирпичей, подобранных им где-то еще по дороге. Халил Расулев помогал ему, украдкой бросая взгляды на сидевших поодаль Зайнаб и Мустафу Ризаева. Иван Павлович, полюбившись природой и выкурив папиросу, растянулся на траве, отдавшись отдыху и созерцанию синего высокого неба. Оля, Туфахон и Ботыр пошли в лес собирать сухой валежник. Несколько раз Оля, пытавшаяся было уйти от них подалее и оставить их вдвоем, со смехом и смущением возвращалась назад, так как Туфахон серьезно обижалась, едва Оля начинала от них удаляться.

— Нет, ты понимаешь, Туфочка, почему я все время убегаю от вас, — призналась она, взглянув на подругу. — У меня есть от тебя тайна... Правда, когда-то мы обещали друг другу ничего не скрывать... Но тайна эта появилась у меня только вчера, и я еще не успела ее пережить сама, и мне все время хочется побыть одной...

Туфахон остановилась и в свою очередь пристально посмотрела подруге в глаза.

— А мне кажется, напротив, Оля, тебе как раз очень хочется поделиться со мной. И... я очень виновата...

Она бросила хворост и обняла Олю за плечи.

— Скажи, что у тебя?

Оля секунду молча и восторженно смотрела на Туфахон.

Ботыр, чувствуя себя смущенным и не зная, что делать, подобрал брошенный хворост и понес было его на лужайку. Но Оля остановила его, крикнув:

— Ботыр-ака! А вы разве не хотите узнать мою тайну?

Ботыр еще больше смутился и, не выпуская из рук хворост, приблизился к ним. Оля весело взглянула на них попеременно — сначала на Туфахон, потом на Ботыра, встала между ними, положила свои руки им на плечи и сказала:

— Друзья! Вы можете меня поздравить. Недели через три я еду в Москву. Учиться... В театральный институт...

— В театральный институт... Олечка, это правда?

Туфахон даже побледнела от волнения и в первое мгновение не могла больше произнести ни слова. Потом она вдруг вся залилась густой краской и бросилась целовать Олю.

— В Москву... В театральный институт, — повторяла она иступленно, покрывая ее поцелуями. — Поздравляю тебя, поздравляю, Ольга. Значит, судьба твоя определилась. Я счастлива за тебя... Я люблю тебя... Я очень счастлива...

— А ты, — спросила Оля минуту спустя, когда Туфахон немного успокоилась. — Ваша судьба определилась?

— Наша? — переспросила Туфахон и посмотрела на Ботыра. — Я не знаю... На этот вопрос должен ответить Ботыр-ака.

Ботыр опустил голову и ничего не сказал, словно бы и не слышал последних слов.

Когда они вышли на лужайку, Туфахон пустилась бежать, увлекая за собой Олю и что-то крича Шодмон-палвану и Халилу на узбекском языке, чего Оля не могла понять. Иван Павлович, уже, видимо, задремавший, приподнялся и сел на траву, обхватив руками колени и молча с недоумением глядя на девушек. Зайнаб и Мустафа Ризаев оставили свое укромное местечко за огромным камнем и тоже подошли поближе.

— Друзья, — заговорила Туфахон уже по-русски. — Сейчас мы должны радоваться за Олю Протасову. Она скоро от нас уезжает. Уезжает учиться в Москву... В театральный институт... Я хочу, чтобы мы все уже сейчас, пока Шодмон-палван-ака не сварил плов, поздравили ее так, как наша хозяйка, Серафима Ильинична, поздравляла Ботыр-ака, когда он пришел из госпиталя. Она сказала тогда: „По-русскому обычаю гостей любят вином встречать...“ Ну, а мы будем провожать...

Туфахон еще что-то говорила, но слова ее потонули в общем шуме, возгласах, смехе и шутках. Все знали, какой талантливой исполнительницей ролей была Оля Протасова в драмкружке, и все

были рады, что она ехала теперь учиться в Государственный институт театрального искусства. И пока другие поздравляли ее и желали ей успехов, Шодмон-палван в одну минуту расстелил на траве шелковую узбекскую скатерть—дастархан, открыл бутылку марсалы, банку рыбных консервов и достал из рюкзака белую жестяную кружку.

— У меня готово, товарищи, — сказал он, показывая рукой на дастархан. — Прошу садиться.

— В таких случаях, — сказал Иван Иванович, первым усаживаясь на траву, — у нас говорят: „Прошу к нашему шалашу“.

Шодмон-палван засмеялся и повторил, не совсем верно произнося слова:

— Прошу к нашему шалашу.

Все присели вокруг маленькой скатерки, кто на коленях, кто привычно подобрал под себя ноги. Шодмон-палван, резко выделяясь среди всех своей могучей фигурой, взял в руку жестяную кружку, налил в нее вина и протянул Оле:

— Пейте, сестра. Мы желаем вам быть хорошей артисткой.

Оля смутилась, покраснела, однако без уговоров взяла кружку в руки, отпила из нее глоток вина и передала кружку Туфакон.

Все было весело и оживленно. Только Ботыр сидел задумчивый, молчаливый и улыбался, видимо, лишь для того, чтобы не портить общего веселого настроения.

Когда вино было выпито и все решили, пока Шодмон-палван будет варить плов, пойти покататься на лодках, Ботыр легонько взял Ивана Павловича за локоть и тихо, почти нежно сказала ему:

— Папаша, я прошу вас покататься с нами.

— Нет, сынок, извини. Я уж лучше здесь отдохну, на травке. Извини.

— Папаша...

Иван Павлович взглянул на Ботыра и изумился: черные блестящие глаза его были влажны, точно подернуты какой-то пленкой.

— Папаша... У меня есть к вам очень большая просьба.

— Покататься?

Иван Павлович улыбнулся.

— Нет, другая.

— А а... Ну, так вот и оставайся. Пусть Халил покатает девушек, а мы, тем временем, поговорим. Садись. Пусть они катаются.

— Пусть, — улыбнулся Ботыр и присел рядом. — Только Халил, кажется, не умеет...

— Ничего, девушки его научат!

Однако через минуту Ботыр поднялся и, извинившись перед Иваном Павловичем, подошел к Туфакон. Он тихо, вполголоса что-то сказал ей, затем, улыбнувшись, прощально помахал рукой и вернулся к Ивану Павловичу.

Некоторое время они оба молчали, глядя, как катающиеся садились в лодки. Маленькая компания разделилась надвое: Мустафа Ризаев и Зайнаб отъезжали на одной лодке, Халил, Туфакон и Оля садились в другую.

— Ну что ж, сынок, какая у тебя ко мне просьба? — спросил Иван Павлович, когда лодки стали удаляться от берега.

Ботыр повернул к нему лицо и, заметно волнуясь, негромко сказал:

— Я хотел просить, чтобы вы научили меня работать.

— Как работать? Разве ты не умеешь работать? — будто не догадываясь, о чем говорит Ботыр, спросил Иван Павлович.

— Я умею работать, папаша, — все так же мягко и чуть-чуть улыбаясь, продолжал Ботыр. — Только...

С озера, со стороны удаляющихся лодок, донесся веселый девичий смех. Они оба на секунду замолчали, посмотрели на лодки. Видно было, как Мустафа Ризаев быстро уходил в сторону от другой лодки и как Халил помахал им рукой.

— Так что же „только“? — спросил опять Иван Павлович.

— У меня здесь невеста... Туфахон...

— Знаю. Моя ученица. И о тебе знаю.

— Так вот я хочу здесь остаться работать до конца войны. Мне хотелось у вас поучиться... токарному делу... Я, правда, сначала думал проситься в мареновский цех или в кузнечный, но сейчас, после ранения, для меня это будет тяжело. А потом ведь вот еще что: после войны я вернусь в свой колхоз, а хороший тогарь очень нужен в колхозе. У нас ведь есть свои мастерские.

— Значит, сынок, можешь мне больше ничего не объяснять. Все ясно, — сказал Иван Павлович и серьезно посмотрел Ботыру в глаза. — Я вижу, что желание у тебя имеется искреннее и большее к этому делу. Что ж, оставайся. Поработай до конца войны. А потом вместе со своей Туфахон домой махните. Я думаю, мне удастся тебя в свой цех определить. Завтра поговорю с начальником.

— Спасибо, папаша. Я буду на вас надеяться, — сказал Ботыр.

— Ничего, сынок, ничего, — сказал Иван Павлович и похлопал его по плечу. — Я ведь старый человек, разных людей видел на свете. И тебя вижу. Не благодари. Не надо. Иди вон лучше в сталевару, плов помоги сварить, а то может он один-то и не справится.

Через час все собрались к плову. Вокруг дастархана, на котором дымилось деревянное блюдо с пловом, тесно уселись в кружок и молодежь, и Иван Павлович, и сам Шодмон-палван. Все были возбуждены, жизнерадостны. Шодмон-палван к всеобщему удовольствию учил Ивана Павловича есть плов руками. Но тот все никак не мог поднять горсть ко рту так, чтобы не рассыпать рис, и наконец, не выдержав, взял в руки ложку. Туфахон смотрела на Ботыра и была счастлива от того, что он вдруг сделался весел и разговорчив.

— Ну, что, поговорили? — украдкой спросила она его.

— Поговорили.

— О чем, Ботыр-ака?

— Потерпите. Расскажу после.

Через две недели Оля Протасова уехала в Москву.

Проводив подругу и начав скучать по ней с того самого момента, когда поезд, увезший Олю, скрылся из глаз, Туфахон стала еще чаще встречаться с Ботыром, видимо подсознательно желая заполнить тот незапятнанный и грустный уголок сердца, который появился после отъезда подруги. И в рабочее время, и в свободные часы, даже в обеденный перерыв они находились теперь вместе. На следующий же день после разговора с Иваном Павловичем Ботыр стал работать в токарном цехе, рядом с Туфахон. И вечером, после первой смены, когда Туфахон, пообедав, начинала работать на электрокаре, они тоже почти не разлучались, так как она возила готовые детали из токарного цеха в другой, и они опять то и дело могли видеть друг друга и перебрасываться словами. Только поздно ночью, когда кончалась вторая смена, они расставались за воротами завода до утра, потому что Ботыр попрежнему жил с трудармейцами в бараке, а Туфахон — у Серафимы Ильиничны.

Работая с Ботыром почти бок о бок, Туфахон видела, как он быстро усваивал все процессы токарного дела, как легко разбирался в чертежах, как вся работа ловко спорилась у него в руках, и признавалась себе, что все у него выходило лучше, чем у нее, когда она начинала учиться. Резец шел у него по металлу без скрежета и свиста, мягко, легко, точно резал сливочное масло, хотя и брал довольно толстую стружку. Это особенно было отрадно Ивану Павловичу, и старый мастер скоро понял, что Ботыр будет хорошим токарем.

Иногда, когда Иван Павлович на минутку отлучался, а у Ботыра как раз в это время что-нибудь не ладилось (и надо же было не ладиться именно в этот момент), Туфахон подходила к нему, секунду молчала, делая вид, что и она не может понять, в чем тут дело, потом мягко и ласково говорила:

— Вот так попробуйте сделать, Ботыр-ака.

И в мгновение ока исправляла неполадки.

Он сначала смущался, краснел, когда она подходила, а потом краска исчезала у него с лица, он взглядывал на нее сияющими и восторженными глазами, должно быть больше поражаясь ее тактичности и мягкости, чем даже знанию дела.

В столовой во время обеда, в цехе, когда случалась минутка, ночью по выходе из завода и утром при встрече, — всегда находилось у них о чем поговорить и всегда они были рады увидеть друг друга.

Месяца через три Ботыр начал самостоятельно работать за станком, а еще через полгода стал вытачивать такие сложные детали, которые Иван Павлович доверял немногим мастерам. Старичок частенько, посмеиваясь, спрашивал, когда же Ботыр позовет его на свадьбу. Ведь он, мол, их обоих выучил, поставил, можно сказать, на твердые ноги, дал им в руки такую хорошую специальность, а они, лишь только закончится война, умчатся к себе

домой, в Узбекистан, и только он, Иван Павлович, их и видел. А ему, де, старику, очень хочется погулять у них на свадьбе, потому что за это время он стал им как родной отец.

Однако Ботыр хотя и видел, что старик больше подтрунивал над ними, чем говорил серьезно, стал действительно думать о том, не устроить ли им свадьбу и в самом деле здесь, в Свердловске... Ведь неизвестно было, когда они поедут домой. И не так уж сильно могли обидеться старики-родители, если бы они известили их в письме, что решили все-таки пожениться, а свадьбу думают сыграть потом, когда вернутся домой. Ботыр даже предполагал сыграть две свадьбы: одну здесь, в Свердловске, а другую, побогаче—дома.

И, пожалуй, так бы это и вышло, если бы не случилось у них одно большое горе.

Туфахон не часто получала письма из дома, — одно, редко два письма в месяц, а иногда и ни одного. Она знала, почему ей мало писали. Мать ее, Хайри-апа, была неграмотная женщина, и всякий раз, когда ей хотелось написать дочке письмо в Свердловск, ей приходилось просить об этом кого-нибудь из молодежи. А она была стеснительная женщина и не любила обременять людей. Отец тоже был не очень хорошо грамотен; чтобы написать письмо, ему надо было затратить три-четыре часа. К тому же он всегда был занят колхозными делами. И Туфахон, разумеется, не сердилась на них за это. Старалась сама писать им почаще и радовалась, когда от них приходили письма.

Но в последнее время она стала серьезно тревожиться. Из дома уж месяца три не было никакой весточки. И вдруг однажды утром, когда она только что собралась идти на работу, принесли телеграмму: „Мать тяжело больна. Приезжай немедленно. Твой отец Нормат Ходжаев“.

Не успела еще Туфахон опомниться, посоветоваться с Ботыром и решить, что надо делать, как пришла новая телеграмма: „Мать умерла“.

Отец-старик остался в доме один.

Ее не стали задерживать. Ботыр обязался выполнять ее норму на токарном станке.

Туфахон получила расчет, и через два дня вечером Ботыр поехал на вокзал ее провожать.

Испытанный воин, проливший кровь за родину и знавший цену человеческому горю, он был поражен ее мужеством, ее духовной красотой. В течение этих двух или трех дней, когда пришли телеграммы, она почти не плакала, только глаза ее сухо блестели и на матово-смуглых, чуть-чуть побледневших щеках играл горячий слабый румянец.

Они долго стояли в сумерках на безлюдном перроне. Туфахон смотрела куда-то вдоль поблескивающих железнодорожных путей и сквозь мысли о матери, о доме, об отце на мгновение вспомнила, как два с половиной года тому назад она металась здесь по этим путям, искала Ботыра.

— Ботыр-ака, — сказала она негромко. — Навещайте Серафиму Ильиничну. Не забывайте ее.

Он молчал.

К перрону тихо подкатывал поезд.

— Я попрощалась с Иваном Павловичем... Он долго не отпуская мою руку и то ли хотел рассмешить меня, то ли просто перепутал, но вместо того, чтобы сказать мне по-узбекски „до свиданья“, он сказал: „Ва-алеЙкум ассалом“. Я засмеялась, а у него под очками блеснули слезы.

Тихо звякнули буфера. Поезд остановился.

— Вы завтра утром, когда войдете в цех, передайте Ивану Павловичу от меня привет.

Это она сказала ему второпях, громко, потому что объявили посадку и на перроне сразу стало шумно.

— До свиданья, Ботыр-ака... Я буду ждать вас... Там... В Узбекистане...

Э П И Л О Г

Прошло тринадцать месяцев.

Стоял сентябрь 1945 года. Наша Родина только что закончила победную войну и, еще не отдышавшись от жарких схваток с врагом, как трудолюбивая добрая мать, сражавшаяся за счастье своих детей, тотчас же вернулась к своему труду.

Солдаты, возвращавшиеся с полей войны, принимались за работу; каждый вставал на свое место, брался за родное ему дело.

Однажды ясным сентябрьским утром из колхоза имени Сталина в направлении к городу выехала грузовая, видимо, только что вымытая и поблескивавшая зелеными бортами полуторатонная машина. В машине сидели председатель колхоза Джалилов в белом чечучевом кителе и белой фуражке, Сабир-ака, Нормат-ата, оба в шелковых, без подкладки, полосатых халатах и одинаковых черных бархатных тюбетейках, и Туфахон в нарядном розовом платье с закрученными на голове вокруг вышитой тюбетейки косами.

— Аман булинг! Аман булинг!¹ — помахивая руками, кричали им издали колхозники, собиравшие близ дороги на полях хлопок.

Сидевшие в машине молча кивали им головой и слегка улыбались. Все четверо были, видимо, чем-то взволнованы.

— А как вы думаете, не опоздали мы к поезду? — спросил Джалилов у Туфахон, когда до города оставалось всего километра два. — Вы хорошо узнали время его прихода?

— Я вчера узнавала в справочном и у начальника вокзала спрашивала. А сегодня утром вы же сами звонили из правления колхоза. Что они вам ответили?

— Сказали, что прибудет точно, без опозданий.

Туфахон взглянула на ручные часы.

— Сейчас ровно десять.

И хотя до прибытия поезда, к которому они спешили, остава-

¹ Аман булинг — будьте здоровы.

лось еще полчаса, а машина уже подходила к вокзалу, в голосе Туфахон почувствовалась тревога.

Еще издали они увидели на привокзальной площади много народу. Перрон был также запружен встречающими и украшен зеленью и цветами. Трудящиеся Узбекистана встречали своих земляков, возвращающихся с Урала.

Яркое утреннее солнце, светлые, взволнованные, улыбающиеся лица, множество цветов, возгласы, говор, смех, — все это еще больше взволновало Туфахон. Увлекая за собой своих спутников, она пробилась к самому краю перрона и стала то и дело беспокойно поглядывать в левую сторону, откуда из голубой стены должен был показаться поезд.

Оставалась одна минута. И вдруг на перроне все пришло в движение.

— Идет! Идет! — пронеслось над головами.

— Идет! Поезд идет. Карим-ака... Отец... — не своим голосом закричала Туфахон и зачем-то прыгнула с перрона вниз, к самому полотну.

На нее зашумели. Кто-то подал ей руку, она снова взобралась на панель и, вытягивая шею и вся подавшись корпусом вперед, стала смотреть на стремительно мчащийся и с каждой секундой все увеличивающийся в размерах красавец „ФД“. Паровоз весь был украшен хвоей; впереди, на горячей груди его уже был виден портрет Сталина.

Прошла еще секунда... другая... третья...

Охватывая вихрем стоящих на панели людей, поезд стремительно подошел к перрону. В каждом вагоне, у раскрытых настежь дверей, стояли возвращавшиеся домой трудармейцы, что-то кричали, смеялись, махали шапками и руками.

Взволнованная, с сильно бьющимся сердцем, Туфахон вглядывалась в лица стоявших в вагонах людей и чувствовала, как все больше и больше подкашиваются у нее ноги и слабеют руки. Вдруг она что-то закричала пронзительно и кинулась сквозь толпу к раскрытым дверям вагона.

Вагон еще медленно двигался. Впереди всех, придерживаясь рукою за дверь, стоял Ботыр в шелковом полосатом халате и в тюбетейке и, радостно улыбаясь побледневшим, взволнованным лицом, что-то говорил стоявшей рядом с ним Серафиме Ильиничне.

Они, должно быть, не видели Туфахон. Позади них виднелась могучая фигура Шодмон-палвана. Сталевар глядел на встречающих их на перроне людей и, видимо, волнуясь, быстро подкручивал свои короткие красивые черные усы.

— Ботыр-ака! Ботыр-ака! Я здесь... — слышался где-то в толпе голос Туфахон. — Серафима Ильинична! Здравствуйте...

И вдруг они увидели ее. Ботыр, должно быть, увидел первый.

Лицо его мгновенно просияло. Он что-то сказал Серафиме Ильиничне, показал ей куда-то рукой и прыгнул из вагона на перрон, прямо в толпу.

Конец.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Я не знаю, у какой долины
Первая жила моя родня.
В домике ли, слепленном из глины,
Или у пещерного огня,
Был ли великаном давний пращур,
Убивавший камнями зверей,
Был ли человеком он бродящим,
Дела нет мне до пещерных дней.
Но потом ни барином, ни сотским
Не был он... Неправдою не жил.
Пращур мой в дружине новгородской
Рядовым у Невского служил.
Пращур мой сражался под Полтавой,
Бил врагов железом и огнем.
Через Альпы он прошел со славой,
Не дрожал в редуте боевом.
И простор от моря и до моря,
От Чукотки до Колхидских скал,
Пращур мой с врагом в жестоком споре
Для потомков кровью отстоял.
И, снимая шапку у могилы,
Что хранит покой богатыря,
Думаю — от этого Данилы
И пошла фамилия моя.

СЕГОДНЯ В ГАЗЕТАХ ПИШУТ...

Рассказ

Судя по карте, мы находились уже недалеко от цели. Смеркалось. Медленно накапливалась мгла в низинах. Летний вечер оплывал, как свеча, белесыми туманами.

Двуколка наша катилась по пыльным, теплым еще колеям проселочной дороги, заметно кренясь на левый бок: слева дремал грузный майор — начальник дивизионной разведки.

На ухабе нас тряхнуло, и мой спутник открыл глаза.

— Не спите, капитан, не спите, — произнес он ворчливо и тотчас же опять уснул.

Мы проехали еще с полкилометра в полной тишине. Справа тянулось истоптанное, изрытое снарядами поле с частыми воронками от авиационных бомб. Иные из них уже поросли молодой травой, другие чернели, как свежие могилы. Слева, на склоне холма, виднелась рощица, в зелени ее то и дело мелькали белые, местами опаленные, срезанные артиллерией стволы берез.

Где-то здесь мы должны были свернуть и, пожалуй, пора бы уж быть развилке дорог.

Я поглядел на своего соседа. Он больше не спал.

— Похоже — пропустили вы поворот, — проворчал он.

Мы проехали еще немного, осматриваясь по сторонам.

— Вот он, — закричал майор, наваливаясь на меня всей тяжестью.

Через четверть часа мы были на командном пункте батальона. Комбат расположился в большой пятистенной избе; крыша ее была наполовину снесена, крыльцо заменяла доска.

В передней половине, где я задержался, находилось человек шесть, занятых разными делами: кто копался в каких-то бумагах, выгребая их из своей полевой сумки, кто набивал патронами диск автомата. Тут же два бойца, видимо ординарцы, загораживали угол плащ-палаткой. Пожилой, небритый телефонист то дул, то кричал в зеленый ковшик трубки:

— Я — роза... Я — роза... Фиалка, отвечайте, фиалка. Я — роза...

Меня повзвали во вторую половину.

— Вот командир батальона, — кивнул майор на маленького сухого капитана, — доложит обстановку. Потом вы изложите наши данные.

Капитана Стручкова я встречал у командира дивизии. Был он маленького роста, сухой и легкий, и на коне походил на жокеев. Капитану очень подходила его фамилия, я слышал, что в батальоне его так и звали „Стручок“.

Комбат говорил неспеша, водя тыльной стороной карандаша по старой истертой километровке, на которой нанесена была обстановка.

Но майор прервал его:

— А сегодняшней пленный ваш что показывает?

— И пленный это же показывает, — отвечал Стручков.

— Допустим, это все верно, — сердито сказал майор, — но условия обороны немцев за сутки много раз меняются. Мне нужен проводник для моих людей. Чтоб знал не по карте, а на местности, где что у них. Задача: провести группу в немецкий тыл, с рацией, учтите. И вернуться. Вам понятно? Можете дать такого человека?

— Понятно. Могу, — решительно сказал Стручков. — Того человека дам, который пленного привел...

Майор подобрел:

— Так давай его сюда, давай. Он где у тебя?

— В роте. Но сейчас, кажется, здесь по вызову начальника штаба.

Комбат открыл дверь и крикнул:

— Старшего сержанта Миреева ко мне!

— А вы мне пока расскажите коротко, как он пленного взял.

— Прощел с двумя бойцами здесь, — Стручков показал по карте. — В полукилометре к западу они обнаружили лужок и на нем несколько копенек сена, немцы запасали. Ну и решили ждать, когда за сеном явятся. Тем более, видны были следы немецкой фуры. Через сутки дождался. Шуму не делали. Возницу прикончили штыком. А ефрейтора живьем притащили.

— Сержанта представьте к награде, — быстро сказал майор. — За „языка“ и за находчивость.

В дверь постучали: вошел старший сержант. Даже в скупом свете фонаря была заметна сильная смуглота его лица.

Он был невысок, но широк в кости, и впечатление силы исходило от всей его кражистой фигуры. На вид он казался не старше тридцати лет.

Сержант отрапортовал, медленно и тщательно выговаривая слова.

— Поведешь дивизионных разведчиков в тыл. Где сейчас пройти можно, знаешь? — спросил майор.

— Так точно.

— Покажи по карте, как поведешь.

Миреев подошел ближе. Комбат придвинул к карте фонарь.
— Вот здесь наш наблюдательный пункт, вот печка, от печки начинается тропка...

— Какая печка?!— закричал майор.

Комбат пояснил:

— Здесь выселки раньше были, товарищ майор, от них печка одна только осталась, от нее и считается „ничейная земля“.

Миреев продолжал:

— Вот высотка. Здесь у немцев пушка противотанковая. Направо завал, двоты... А здесь проползти можно...

— Трим. А семерым?

— И семерым можно.

— Ну, давай, веди.— Майор развеселился. Было в повадках Миреева что-то, внушающее доверие.— Когда выходить — приказ будет, а пока, я так полагаю,— обратился он к Стручкову,— пусть старший сержант познакомится с нашими ребятами. Ити-то им вместе...

Позже мы с комбатом прошли по улице села. У околицы на поляне расположилась группа бойцов. Оттуда доносились смех и голоса.

Мы сели неподалеку на траву.

— Это Миреев с вашими разведчиками знакомится,— сказал комбат.

Миреев говорил теперь быстрее, не совсем правильно выговаривая слова. Я понял, что в служебном разговоре он тщательно строил речь... Эта подтянутость как-то подходила ко всему его облику.

— Он откуда, Миреев?— спросил я.

— Из Средней Азии. Способный человек.

Я прислушался.

— Ты, Стрепетов,— говорил Миреев,— правда, похож на куст, но куст молчит, он не делает так...— Миреев оглушительно чихнул, видимо, подражая Стрепетову.

Ребята захохотали.

Я живо представил себе, хоть и не видел сейчас, маленького круглого Стрепетова в зеленой маскировочной одежде,— он и правда немного походил на помятый пыльный куст при дороге.

Дальнейшего я не расслышал и уловил только заключительную фразу Миреева:

— Немца насмерть бить надо. А если не насмерть,— он очнется и тебя убьет.

— А злой ты, сержант, на фрица, мабуть он и в твою хату беду привел.— Это сказал украинец Дымко, я узнал его по голосу.

— Нет,— серьезно ответил Миреев,— до моей хаты далеко, он не дойдет. Я за твою злой.

Около полуночи я с ординарцем пошел провожать нану группу. Мы шли по тому пути, который Миреев давеча показал на карте.

Кто хоть раз в ту лихую годину ступал ногой на захваченную

врагом родную землю, тот на всю жизнь запомнил сложное чувство смятения, боли, ненависти и надежд, которое охватывает тебя, едва перейдешь невидимую границу, необозначенный рубеж...

Все кругом нас казалось неверным, зыбким, враждебным.

Ветра не было, а шумы и шорохи в траве, в листве точно двигались за нами по пятам.

Луны тоже не было, а неясное мерцание, разлитое вокруг, гровило выдать, обнаружить, предать...

Когда дошли до небольшого ручья, Миреев тихо бросил:

— Отсюда поползем.

— Ну, смотри, Миреев, — обратился я к нему на прощанье, — чтобы все в порядке...

— Я отвечаю, товарищ капитан, — сказал Миреев. И снова его слова внушали доверие и уверенность, и звучало в них больше, чем было сказано.

Он вернулся через сутки, но еще утром заработала рация группы: передавались результаты наблюдения за движением противника на дороге.

Ночь застала нас на пути в дивизию. За нами на тачанке ехали Миреев и два бойца, посланные комбатом в соединение.

Сильный огонь немецкой артиллерии заставил нас слезть с тележек и укрыться в старом заброшенном блиндаже.

— А Миреев где? — спросил майор, посветив электрическим фонариком и оглядевшись.

— А он наверху остался, — сказал один из бойцов.

— Ему что ж, приглашение особое надо?! Зови его сюда, а то неровен час...

В открывшуюся дверь ворвался шум канонады и резкий запах хвоя.

Спать не хотелось. Закурили.

Наш майор был хорошо настроен: первые результаты разведки радовали.

— Мы, сержант, тебя в офицерскую школу пошлем, — внезапно обратился он к Мирееву.

— Посылали, — вмешался я. — Мне комбат говорил, он сам не хочет. После войны домой собирается.

— Да ты что? — удивился майор. — В офицерскую школу не хочешь? Чего же ты тогда хочешь?..

— Хлопок растить буду, товарищ майор. Такое мое занятие в жизни.

— Хм... — проворчал майор, — хлопок, может, и без тебя произрастет... а к нашему делу у тебя склонность, понимаешь, талант, может быть...

— Я насчет хлопка еще больший талант имею, — возразил Миреев.

— Не знаю, какой ты мастер на полях, а вот в нашем солдатском деле ты хорош.

Миреев помолчал, потом вдруг спросил:

— Могу задать товарищам командирам вопрос? Вы, верно, и на других фронтах бывали?..

Да, конечно, майор был на Западном, на Карельском, я — на Юго-Западном, на Калининском...

— Так... — Было слышно, как Миреев придвинулся ближе к нам. — А не встречали такой нации — каракалпаков?.. Бойцов, может, или офицеров?..

— Ну, как же, — сказал майор, — у меня ординарец из Нукуса был, славный парень. Два раза меня из огня вытаскивал. Потом в разведке у меня еще в полку два друга служили, один под Ельней геройски пал, другой где сейчас, не знаю, потерял из виду... Еще знал в политотделе армии инструктора, я ему орден вручал...

— Так, — повторил Миреев. — А звать их как?

Майор припомнил и их фамилии.

Молчание воцарилось в блиндаже. Миреев сидел со мной рядом, и я слышал, как он что-то шептал про себя. Мне показалось, что он повторяет названные майором имена.

— А вам зачем это? — спросил я.

— Я сам каракалпак, — ответил он просто.

К утру мы были у себя в дивизии. До отъезда Миреева в батальон я видел его два раза, и как-то мы провели с ним свободный часок в задумчивой беседе. Он достал из кармана письма от домашних (с этого обычно и начинается солдатская дружба) и перевел мне их содержание.

Работа нашей группы работала исправно. Наши люди разведали движение противника на шоссе и пункты скопления техники. Пора было им возвратиться. Внезапно связь оборвалась. Мы ждали сутки: никто не возвратился.

Я, не отрываясь от телефона, держал связь с батальоном. Комбат предложил послать Миреева на поиски. Майор согласился, а мне приказал выехать в батальон и ждать результатов. Я прибыл в батальон на следующий день после вторичного выхода Миреева в тыл.

На рассвете меня разбудил командир роты. Было тихо, немцы молчали. Тем не менее, предчувствие несчастья охватило меня.

— Вернулись ваши... Целы... Крепко ранен Миреев, на плащпалатке принесли.

Я выскочил наверх. Миреев лежал на залитом кровью полотнище. Штангина на одной ноге у него была разрезана. Ротный санитар бинтовал ему ногу ниже колена. Нога, внизу уже туго охваченная белым бинтом, резко выделялась на темном фоне палатки.

На мужественном лице Миреева я увидел выражение большого страдания.

Я посидел около него, пока санитары запрягали коня в ротую повозку, готовясь взять раненого в медсанбат.

— Я чувствую — плохо, возьмите, сохраните... Если что, пошлите на родину. — Миреев вынул из кармана гимнастерки самодельную записную книжечку того бывшего вида, какой имеют все солдатские документы, носимые с собой в карманах.

Я простился с ним, пообещав завтра же заехать к нему.

Не могу передать, как сильно я желал ему жизни, здоровья и удачи.

Все семь наших разведчиков, — двое из них были легко ранены и сами перевязались, — подошли ко мне. Старший группы сержант Дымко подал мне только что написанный рапорт. Он был по-солдатски краток и по-солдатски красноречив.

Связь с дивизией прервалась из-за повреждения радиы случайным осколком. В виду важности наблюдаемых передвижений, решили задержаться. Получив через Миреева приказ о возвращении, группа двинулась в обратный путь. Уже на «личейной земле» вскочили на немецкую разведку. Завязалась перестрелка. Старший сержант Миреев приказал всем отходить, пустив вперед радиста с радией. Сам же огнем своего автомата прикрывал отход. Тут он был дважды ранен в ногу.

Я привял рапорт, но ребята не уходили: я понял, что каждому хочется сейчас же, немедленно рассказать во всех подробностях все происшедшее. Я понял также переполнявшие их чувства, — имя Миреева было у всех на устах.

Я ехал в медсанбат по той самой дороге, по которой несколько дней тому назад мы добирались до резиденции «Стручка». Но мне казалось, что с тех пор прошло очень много времени. Там много было пережито в этот срок. И в этот срок, — подумалось мне, — я узнал еще одного замечательного человека.

В перевязочной, куда я сперва попал, я наткнулся на тоторного санитаря, который доставлял сюда Миреева.

— Ну, как? — спросил я.

— Ступню отрезали, вторая рана несерьезная... Поправится... Да вы пройдите к нему.

Он проводил меня до кирпичного дома в центре деревни.

Я с радостью увидел лицо Миреева, хотя бледное и осунувшееся, но без того выражения страшной муки, которое так больно меня поразило вчера на передовой.

«Не сломился духом», — с радостью подумал я.

Он был рад мне.

— Ну, вот как все получилось. Помните наш разговор в блиндаже?.. Вот и хорошо, что в военные я не стремился, теперь бы торевал.

Я подумал с грустью, что и на поле ему без ноги будет трудно, но он, как будто угадав мои мысли, тотчас же сказал:

— Я пользы государству принесу не меньше, а больше, чем раньше, я теперь цену всему лучше знаю... Вы еще услышите...

Я вернул ему его записную книжку (записи в ней были на его родном языке) и спросил его, о чем они.

— А я вот вам сейчас читаю.

Я приготовился слушать. Он читал и тут же переводил мне записанное.

— Лейтенант М., уроженец деревни... — читал Миреев, — пал смертью храбрых при взятии пункта.. Медработник Юсуп, фамилии не узнал, вынес из огня 29 раненых с их оружием, политработник... отличился при переправе...

Примерно так выглядели эти записи. Подвиги одних были записаны подробно, на других приводились только краткие характеристики. Все это были каракалпаки, которых Миреев встречал лично или о которых слышал в течение прошедших военных лет. Здесь же оказались записанными имена тех, о которых рассказывал тогда майор в блиндаже, ночью.

— Зачем ты записывал все это? — спросил я, хотя уже и сам догадывался...

— Видишь ли, товарищ капитан, наш каракалпацкий народ — очень маленький народ, очень маленький, мы как одна большая семья... В семье так всегда бывает: один отвечает за другого... Надо, чтоб семья наша знала, как мы воюем. Кто погиб, — про того пусть детям расскажут. Вы поняли меня?

Да, мне было понятно. Этот человек, так остро чувствующий родство со своим народом, он был мне понятен, — больше того, он был и мне дорог, как брат...

И взяв из его рук книжку, я записал в нее историю Мадраима Миреева — сына каракалпацкого народа.

Сегодня я вспомнил эту краткую фронтовую историю. Сегодня в газетах пишут о новых победах передовиков сельского хозяйства Средней Азии; среди них назван Миреев.

СТАРУШКА

К нам в окопы вечером старушка
Молока в кувшине принесла:

— Пейте, хлопцы милые...

И кружку

Старая несмело подала.

И от этой ласки и заботы

Стало нам приятно и тепло.

Не спросили мы старушку: Кто ты?

Где твое находится село?

Знали мы—село ее сгорело,

Сыновой дорога далека.

...Может быть, им, так же вот несмело,

Чья-то мать приносит молока.

ПИСЬМО

Ты мне часто пишешь, мама,

Что у нас снега,

Что стучится ночью в раму

Лютая пурга,

Воет волком вьюга злая

И густеет мгла.

Думаешь ты — смерть шальная

Сына отняла.

Нет, я жив, порою вешней

Я домой приду.

Расцветет моя черешня

Под окном в саду...

ДОМОЙ

Как по мосту понтонному
Шел на восток экспресс —
Сгибалась под вагонами
Спина упругих рельс.
Измерили с ребятами
Мы этот длинный путь,
Утрами и закатами
Не смея отдохнуть.
Прошли, сражаясь с бедами,
Наперекор огню, —
К желанному, победному
Заслуженному дню.

СТАВУШКА

II

ПИСЬМО

Под сном и сну...
Распишет вам вершины
В дождь и в ясный день...
Нот в энд, и восток...
Сидит отшельник...
Да, когда ты — смотришь...
И улетит...
Пост колхозный...
Листа бумаги...
Что у нас...
Ты это пишешь...
Сегодня...

ПЕНДЖАБСКИЕ СКАЗКИ

От редакции

Публикуемые „Звездой Востока“ пенджабские сказки в переводах А. Кисана и П. Синга являются в русской литературе первыми образцами современного индийского фольклора после публикации основателем русской школы индологии И. П. Минаевым индийских сказок, собранных им еще в 70-х годах прошлого века в Камаоне. На русский язык переводились, вплоть до настоящего времени, главным образом образцы классического фольклора или его переработки и переложения.

Фольклор современной Индии оставался вне поля зрения и крупнейших специалистов-индологов и исследователей фольклора. А между тем, именно фольклор сегодняшнего дня представляет собой богатейшее поле для исследователя.

Характерным для него является злобность сюжета, создаваемого непосредственно вслед за тем или иным событием, беспощадность критики, меткость и остроумие, сочный и, прежде всего, реалистический язык, о чем бы ни повествовала сказка и какие бы формы она ни приобретала. Повествует ли она о шакале-неудачнике или о мулле, который прикинулся мертвым, рассказывает ли о верблюжьем следе или сообразительном ткаче, всюду совершенно ясно и четко выступает на первый план жизнь, в данном случае — пенджабской деревни, которая превосходно обошлась бы и без лам радаров, и без мulla, и без налогов, от которых так догадливо избавился ткач Гриба в сказке „Хитрый Гриба“.

За индосказанием выступает реальный факт, за хитрой присказкой — тонкое понимание события.

МУЛЛА, КОТОРЫЙ ПРИКИНУЛСЯ МЕРТВЫМ

Жил некогда один мulla, который постоянно поучал верующих: — Не погрязайте в грехе стяжательства, творите добрые дела, жертвуя часть своих богатств мечети. Кто пожертвует мечети хлебом ли, молоком или пищей, тот будет вознагражден в раю ласками гурий.

Однажды молодая жена муллы случайно подслушала эти по-

учения. Муж ее настолько горячо убеждал своих прихожан, что она невольно подумала:

— Может быть, мой достойный муж действительно говорит правду. Но если праведных мужчин в раю будут услаждать прекрасные девы-гурии, то праведные женщины, вероятно, разделят свой досуг с юношами.

Подумав так, она поспешила домой, приготовила много самых вкусных яств и отправила их со слугой в мечеть в благочестивой уверенности, что она уже на пути к обещанному раю.

Мулла, не зная, кто прислал ему дары, принял их с большой радостью и, благословив неведомого благотворителя, сел за трапезу.

Хоть мулла и любил покушать, но осилить столь обильное угощение даже он не смог и остатками угостил своих прихожан, не забыв напомнить им о долге благотворительности.

Закончив свои дела в мечети, он отправился домой, как никогда веселый и радостный. Жене, которая встретила его с улыбкой, он сказал: „Подойди, сядь рядом со мной и поедим хлеба господнего. Думаю, что и я смогу немного поесть, — добавил мулла, — хотя я и поел уже более плотно.“

— Но ты не знаешь, — ответила ему жена, — что вся та прекрасная еда была послана в мечеть мною.

— Что?.. — вскричал мулла. — Это ты послала все те блюда?

— Конечно, я, — ответила женщина.

Услышав это, мулла чуть не лишился чувств.

— Я подслушала твои проповеди, — сказала она, — и дала обет, а теперь я должна его сдержать.

На это мулла ответил:

— Теперь мне остается только умереть. К чему мне жизнь, если ты собираешься так глупо растратить все мое добро.

— Не умирай, — сказала жена, — не надо. У нас ведь много добра. Чем больше мы раздадим, тем больше получим. Ты сам это говорил.

— Да, — сказал мулла, — но мои проповеди я читаю для народа, а совсем не для того, чтобы ты раздавала добро из дому и разрушала хозяйство своего мужа.

После этого он улегся на кровать и сказал ей:

— А теперь я буду умирать.

— Умрешь ли ты или будешь жить, — заявила жена, — я дала обет и выполнить его должна.

Так как оба они были полны решимости, — он умереть, а она раздать его добро, — к ней стали приходить жители деревни и спрашивать:

— Что такое, что случилось?

— Увы, — отвечала женщина, — мой благочестивый муж, мулла, умер.

И прихожане начали готовить его к погребению. В то время, когда они занимались этим делом, жена шепнула ему на ухо:

— Что пользы во всей этой глупости? Если ты умрешь, твое добро все равно уйдет на похороны.

— Не трать на меня денег, — ответил он, — возьми лишь мой саван и укрой меня им, но... если ты обещаешь мне больше не транжирить моего добра, я встану и буду жить.

— Нет, нет, — ответила она, — я дала обет, и он должен быть выполнен.

И мулла был накрыт саваном. После этого жена сказала собравшимся:

— Отойдите на минуту.

Приблизившись к мулле, она быстро прошептала:

— Не будь таким глупым. Тебя ведь сейчас отнесут на кладбище.

— Даже и сейчас еще, — пробормотал мулла, — я согласен жить, если ты обещаешь слушаться меня.

Но опять она ответила ему:

— Я дала обет, и обет этот будет выполнен.

Народ отнес муллу на кладбище, положил его на краю могилы, и один из собравшихся начал читать заупокойную молитву. Жена муллы, однако, не осталась дома, а следовала за похоронной процессией. Когда народ увидел ее, некоторые начали кричать:

— Уходи, женщина, отсюда, чего тебе здесь нужно?

Однако другие заметили:

— Не обращайтесь внимания на нее. Оставьте в покое эту бедную женщину.

— Я только хочу взглянуть на него последний раз, — сказала женщина.

И она вошла в могилу, куда был положен мулла и, нагнувшись над ним, прошептала:

— Через минуту на тебя будут брошены груды и груды глины.

— Так ты обещаешь?.. — спросил он ее.

— Обет был дан, и обет должен быть выполнен, — ответила она.

— Так пусть меня похоронят, — сказал мулла, — и чем скорее, тем лучше.

Жена вышла из могилы и сказала собравшимся:

— Теперь можете забрасывать его землей.

Как только первые лопаты земли были брошены на муллу, жена начала громко плакать и кричать:

— О братья мои, слушайте меня. Теперь, раз мулла умер, все его добро, все его богатство я раздам бедным.

Когда мулла услышал эти слова, он подумал: „Раньше она в своем благочестии обещала раздавать добро по мелочам, а теперь эта безумная хочет раздать все богатство“. Он вскочил на ноги, выбрался из могилы и бросился домой, чтобы сохранить свое добро. Люди, пораженные случившимся, кричали, подняв руки к небу:

— Наш мулла — святой человек! Бог воскресил его из мертвых.

Мошеник мулла стал еще более известным, чем был. И от жены он больше не требовал, чтобы она нарушила свой обет. Она могла посылать в мечеть дары, так как вкусная еда и другие прекрасные вещи поступали к ним обоим в таком количестве, что они не знали, куда их девать.

Перевел А. Кисан

О ШАКАЛЕ-НЕУДАЧНИКЕ

В месяце октябре, когда поспевают посевы, а шакалы особенно игривы, так как прекрасно питаются в это время, несколько представителей этой мелкой породы животных нашли за околицей деревни выброшенные кем-то ненужные бумаги и решили избрать себе ламбрадара*. Избранному они вручили бумаги, сказав ему при этом:

— Когда и куда бы ты ни шел, держи всегда эти бумаги при себе, так как это документы, вручающие тебе власть, и с их помощью ты будешь управлять нами.

— У королей имеются короны, — заметил один из шакалов, — и наш ламбрадар тоже должен иметь какое-нибудь украшение, по которому мы могли бы его всегда узнавать.

— Привяжите ему корзинку к хвосту, — предложила пробегавшая в это время мимо хитрая лиса.

И вновь избранный ламбрадар был снабжен бумагами, а к хвосту его в качестве украшения была крепко-накрепко привязана корзинка. В это время на шакалов напала стая деревенских собак, и шакалы бросились врассыпную по своим норам. Однако, новое украшение ламбрадара, эта злосчастная корзинка, застряла во входе и помешала ему спрятаться в норе.

— Входи же, входи, — звали его другие шакалы из норы, — входи, господин ламбрадар.

— Спасибо, — отвечал ламбрадар, — но вы оказали мне чересчур много чести, и данные мне королевские знаки крепко держат меня.

— О! — сказали они ему. — Покажи этим негодьям свои бумаги.

— Это как раз то, что я и делаю, — ответил ламбрадар, — но они такие варвары, эти деревенские собаки, что даже читать не умеют.

В следующую минуту собаки вытащили злосчастного ламбрадара из норы и разорвали его в клочья.

Таким образом, честь и высокое звание часто таят в себе опасность и гибель.

Перевел А. Кисан

ХИТРЫЙ ГРИБА

В деревне Талибвала жил старый ткач, которого звали Гриба и который был на диво сообразителем.

И случилось однажды, что Хабиб-хан наложил налог на дома всех ткачей в размере двух рупий с каждого порога. Услышал об этом Гриба, выломал свою дверь, взвалил на плечи и притащил ее к хану.

— Вот, хан, — сказал он с низким поклоном, — слышал я, что тебе нужны пороги, так я принес тебе мой. Слышал я также, что тебе нужны и стены, так я сейчас схожу и за ними.

* Ламбрадар — староста.

Выслушал его хан, улыбнулся и сказал:
— О ткач Гриба, возьми обратно свою дверь, твой налог
уплачен.

Перевел П. Синг

ВЕРБЛЮЖИЙ СЛЕД

Однажды ночью прошел верблюд по полю ткача и оставил там свои следы. А на утро ткач увидел эти следы и пошел к деревенскому ворожею в надежде, что тот сможет объяснить, какое животное вытоптало его ячмень.

Старик посмотрел на следы, засмеялся и одновременно заплакал. Люди, собравшиеся послушать его мудрые слова, спросили:
— О многомудрый! Ты и смеешься и плачешь сразу. Почему? Просвети нас...

И старик сказал:

— Я плачу потому, что я думаю, что будете вы, бедняги. делать, когда я умру, кто будет вам все объяснять, а смеюсь я потому, что не знаю, нет, нет, совсем не знаю, чьиже это следы.

Перевел П. Синг

М. ЛЯХОВСКИЙ

В САМАРКАНДЕ

О черк

ДОРОГА НА РЕГИСТАН

Рано утром поезд подошел к белому вокзалу Самарканда. Над городом таял легкий туман, и словно кто-то постепенно поднимал прозрачный занавес — отчетливее становились синие дали гор, образующих полукольцо вокруг Самарканда. На их фоне еще рельефнее выступали белые здания и красные с черными верхушками заводские трубы, высоко вздымающие свои жерла в разных концах города, точно охраняя его с запада и юга, с севера и востока.

Когда-то станция железной дороги отстояла от города на шесть верст. По старой памяти самаркандцы и теперь говорят, что от вокзала до города шесть километров. Это — неверно. Город вплотную подступил к привокзальной площади. Зелень ее деревьев сливается с зеленью широкой улицы, с которой начинается Самарканд.

И сейчас из переулков, зеленых дворишков, каменных домов с парадными крылечками на эту улицу выходили молодые и пожилые люди в рабочей одежде. Перекликались, здороваясь, знакомые.

В гортанный говор узбеков влеталась мягкая речь украинцев, окающая — волжан. Шли девушки на чаеразвесочную фабрику, светлое, с большими окнами здание которой висится в конце привокзальной улицы. Шли рабочие двух консервных заводов, депо. Были здесь узбеки и таджики, русские и украинцы.

За чаеразвесочной фабрикой налево начинается улица Карла Маркса. И она в этот ранний час была полна народу. Спешили на экзамены студенты Сельскохозяйственного института, проходили сотрудники Научно-исследовательского института каракулеводства. Утро в древнем Самарканде начиналось точно так же, как в любом из городов советской страны.

Позавтракав в одной из чайхан, я решил побродить по городу. Мне не терпелось увидеть то, чем Самарканд отличен от всех го-

родов, — памятники великолепного мастерства водчих, скульпторов, резчиков, каменщиков древнего Востока.

Вдали виднелись очертания знакомого по рисункам и фотографиям купола мавзолея Тимура. Левее выступали башенки мозаичного купола какого-то архитектурного ансамбля. Позднее я узнал, что это были медресе Шир-Дор и Тилля-Кари знаменитой площади Регистан.

Я спросил у встретившихся мне студентов, как ближе пройти к Регистану.

— Идите прямо до конца ул. Карла Маркса. Поверните потом направо, пройдете мимо Медицинского института, обкома, института народного хозяйства. Как дойдете до бульвара Горького, свернете налево. Там увидите на углу завод „Кинап“. От него начинается Регистанская улица, а там рукой подать и до площади, — торопливо пояснила мне одна из девушек и бросилась догонять подруг.

Я не успел поблагодарить ее за очень точные указания. Теперь я знал: дорога на древний Регистан начинается от чаераввесочной фабрики и ведет мимо сельскохозяйственного института, научно-исследовательского института каракулеводства, медицинского и народнохозяйственного института и подходит к заводу „Кинап“, где производится звуковая аппаратура для кинопередвижек, которые несут советскую культуру и искусство в далекий кишлак и полевой стан, на зимовку у Ледовитого океана и заставу советских пограничников на Кушке. От этого завода „рукой подать“ до площади, которой исполнилось пять, а может быть и много больше веков и по которой ступали первые носители культуры узбекского народа.

К ВОСТОКУ И ЗАПАДУ ОТ ПЛОЩАДИ

Регистан великолепен. Можно сколько угодно любоваться передаваемой игрой красок изразцов, которыми выложены стены медресе, башенки, купола, — этими голубоватыми, переходящими в светло-зеленые и синие тона сочетаниями орнамента. Можно очень долго изучать причудливый узор резьбы и находить все новые переплетения. Невозможно даже вообразить себе, сколько самого кропотливого труда, сколько мысли и сердца, сколько любви к искусству вложили неведомые мастера в каждый штрих этого восхитительного рисунка.

Очарованный бродил я по медресе.

Лишь выйдя за ограду медресе на площадь, по которой снова ли автомобили и торопились служащие в европейских костюмах, я вспомнил разговор с соседом по купе — пожилым узбеком, вероятно учителем или работником какого-либо из просветительных учреждений. Узнав, с какой целью я еду в город, он вдруг обрушился на меня:

— Что, опять про Биби-ханым и Улуг-бека легенды собирать. Возьмите лучше энциклопедию, большую или малую — все равно, и читайте. Это хоть будет точно.

Я слабо отбивался, пораженный неожиданной в этом спокойном человеке вспышкой гнева. А он не унимался:

— Москва тоже очень древний город. Ей 800 лет. Но там вас заинтересует не только Стрелецкая башня или памятник Минину и Пожарскому. Там вы посмотрите и Шереметьевский дворец, и лучшее в мире метро, и автомобиль „Победа“, являющийся плодом социалистического творчества коллектива завода имени Сталина. Да и в Киеве, Новгороде, Смоленске вы не станете рыться только в пыли прошлых веков, а детально заинтересуетесь — чем живет город нынче. Так скажите мне, почему в Самарканде журналисты и писатели больше всего смотрят на развалины мечети Биби-ханым и слушают легенды о тимуридах?..

Он был явно раздражен, этот добрый старожил Самарканда. Ему, патриоту города, гордящемуся в равной мере и памятниками старины и новым, что есть в городе, как видно, хотелось, чтобы его спросили и о том и о другом. Он несколько раз брался рассказывать, как был построен трамвай, но каждый раз его нетактично перебивали: кому-то вспоминался мавзолей Шах-и-Зида или историче- ский медресе Улуг-бека.

Прочаясь со мной, старик произнес:

— Так не увлекайтесь одним пятнадцатым веком. Когда побываете на Регистане, пройдите на восток от него до фабрики „Худжум“ и на запад — до университета. Кстати, они у нас юбиляры — в этом году фабрика празднует свое двадцатилетие. Университету тоже двадцать лет, хотя формально он стал именоваться так лет пятнадцать назад. До него был педагогический институт. Заверяю вас, на фабрике и в университете вы услышите рассказы не менее интересные, чем легенды о Биби-ханым. Вы узнаете там историю двух депутатов Верховного Совета — ученого Ибрагима Муминова и шелкомотальщицы Угуль-ой Насыровой.

Позже я понял, почему мой спутник назвал именно эту фабрику и университет. Они символизируют социалистическое преобразование города.

За площадью Регистан, на восток, точно трещины на стекле, разбегаются узенькие улочки. Это — старый город. Здесь сохранились постройки прошлых веков. Низенькие с плоскими крышами домики прячутся за толстыми стенами дувалов. В калитку можно войти только согнувшись. Это — не особенность архитектуры, а остаток той поры, когда в своем городе, в своем доме человек не смел чувствовать себя свободным.

Но вот из-за поворота неожиданно появляется площадь. На ней большой дом: школа — каменная, двухэтажная, типовая сталинская школа. А дальше — белый в зелени рабочий поселок, широкое шоссе, ведущее к воротам фабрики „Худжум“.

„Худжум“ по-узбекски значит — наступление. Фабрика была выстроена в годы наступления советской власти на паранджу.

— Паранджа — это не экзотическая принадлежность костюма, — сказал главный инженер фабрики Абдухаликов, сообщая мне историю фабрики. — Это — все, что было страшного и темного в жив-

ни нашего народа: запрет дышать чистым воздухом, видеть солнце, быть человеком. Паранджа была не только символом рабства женщины, она затеняла мир и мужчинам, погрязшим в страшном уродстве старого быта.

Вот почему поход за социалистический Самарканд был начат, как везде в Средней Азии, наступлением на паранджу. Это наступление шло по всему городу, в котором одно за другим вырастали предприятия, явившиеся материальным обеспечением наступления.

В тот год, когда первые узбечки сбросили паранджу и пошли на фабрику, за что не одна из них поплатилась жизнью, Угуль-ой Насырова была восьмилетней девочкой. Дорогу к труду, приносящему счастье, ей расчистили те, первые, которые, не страшась побоев и проклятий, работали на фабрике, ходили в школу ликбеза, вступали в профсоюз и в партию.

Угуль была сиротой. Она воспитывалась у старухи-тетки, которая не пускала ее в школу. Девочка хотела учиться. Она пошла на фабрику к знакомым работницам за помощью. Ее устроили в фабзауч. Здесь она научилась грамоте и стала известной шелкомотальщицей.

— Всем своим счастьем я обязана советской власти. Трудом своим я благодарю ее, — сказала Угуль, когда ее спросили, что заставляет ее так упорно работать.

Насырова много стараний отдает тому, чтобы передать свое умение молодым работницам. Она хороший товарищ, заботливый друг. Ее уважают в цехе за деловитость и ясный ум.

В Угуль-ой Насыровой, избранной нынче депутатом Верховного Совета Узбекистана, старые работницы „Худжума“ видят воплощение своей победы в наступлении на старый быт.

Есть неразрывная связь между историей фабрики „Худжум“ и историей Узбекского государственного университета, расположенного к западу от Регистана на бульваре Максима Горького. Бульвар — одно из красивейших мест города. Это аллея из вековых деревьев. Густая зелень не дает сразу различить серые корпуса университета, занимающего целый квартал.

В 1927 году этих корпусов еще не было. Тогда в одном здании помещался Педагогический институт, созданный для подготовки национальных кадров преподавателей. Так началось социалистическое наступление в западной части города. Дети узбекской и таджикской бедноты шли сюда за знаниями, чтоб затем нести свет учения в свой народ. В Самарканд, ставший снова центром культуры и науки, ехали из Ферганы, Бухары, Андижана.

Братья Муминовы приехали из кишлака Тез-Гузар, что в 60 километрах от Бухары. Юноши поступили на разные факультеты. Муса избрал физико-математический, а Ибрагим — общественно-экономический. Дорвавшись до знаний, дети деханина-бедняка учились самозабвенно, не зная отдыха, не зная усталости. Ибрагим не понимал ни слова по-русски. Он подружился с русским студентом

том Алексеем Шамшуриным. Через год Ибрагим читал книги на русском языке, а его товарищ — на узбекском.

Братья Муминовы были оставлены в аспирантуре. Оба они стали доцентами. В 1933 году Ибрагим Муминов написал свой первый научный труд, который называется „Ленинский этап в развитии диалектического материализма“. Потом появляются его работы о Чернышевском, о поэтах Бедиле и Фиркате. Молодой ученый защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук, стал членом-корреспондентом Академии наук Узбекской ССР. Он избран в Верховный Совет республики.

Старший Муминов — Муса теперь работает ректором университета.

Братья Муминовы — представители первого поколения узбекских ученых, выращенных в советском Узбекистане. Все новые поколения людей науки растут — УзГУ. И очень вероятно, что многие из нынешних студентов — это прямые потомки мастеров, возводивших стены мавзолеев и медресе. Возможно, что среди этих мастеров были предки студента третьего курса Икрамова, прочитавшего недавно на студенческой научной конференции доклад о „Махбуб-уль-кулуб“ Навои и Эргаша Хамракулова, сделавшего на этой конференции доклад „Советский Узбекистан — маяк социализма на Востоке“.

Самаркандцы гордятся своим городом и любят его не как антивары, а как творцы. Они отдают должное старине, но предпочитают, чтобы их город славился ныне, как научный и промышленный центр Узбекистана.

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ

Недавно в городе была открыта выставка работ местных художников. Самаркандцы остались не вполне довольны. Дело не в том, что картины были плохи. Нет, здесь были представлены очень сочные полотна. Но почти все они трактовали о прошлом.

— Как это люди не умеют видеть, — удивлялся молодой слесарь завода „Кинап“ Заид Кабылов. — Рисуют развалины и ишака на фоне базара. Это же можно было рисовать сорок лет назад. Почему не нарисовать наш завод на фоне мавзолея Тимура — вот это будет точно наш город.

Самаркандцы любят говорить о своем городе, не похвываясь памятниками. Они любят говорить о том, что есть, и мечтать о том, что будет.

Председатель городского совета Ташпулат Дустов, уроженец старого города, сказал:

— У нас нет старого города, есть Сиабский район, в котором размещены мотороремонтный и кожевенный заводы, мясокомбинат, шелкомотальная и трикотажная фабрики, завод „Кинап“. Это — новое. Театр и кино — тоже новое. Техникум — новый, школы — новые. Что же вы называете старым городом? Несколько кривых улиц? Подождите, мы их перестроим. В Сиабском районе будут

возведены два новых театра, мы разобьем парк, и это будет самый лучший парк в веленом Самарканде.

Об этом говорят все, с кем я ни беседую.

— Мы патриоты нового, социалистического Самарканда, где мы выросли, получили образование, стали созидателями новой жизни, — заметил, без тени рисовки, один из преподавателей школы, что находится на улице Чаррага. — Представьте себе, что место, где мы сейчас стоим, было пустырем, по которому в дни моего детства бегали бродячие собаки. Когда я теперь хожу по городу, я понимаю, что значит сделать сказку былью. Куда ни пойдешь — всюду то завод, то фабрика, то институт, то школа, то клуб. И все это на местах, где были пустыри. Теперь Самарканд промышленный и культурный центр. Поищите, где еще в Средней Азии есть обжитой город со столькими заводами и институтами.

Это верно. Самарканд сейчас насчитывает 36 фабрик и заводов. Ежедневно поезда увозят отсюда во все концы страны вагоны запасных частей к тракторам с завода „Красный двигатель“, усилители с маркой самаркандского „Кинапа“, ящики чая, рулоны шелка, тонны консервов. Только одна чаеразвесочная фабрика дает в год прибыли 12 миллионов рублей, — стоимость продукции всей промышленности Самарканда двадцать лет тому назад.

Эта явь интереснее многих легенд. Эту явь творят люди, имена которых известны в городе. О мастерах Бобо Каримове, Иване Шапошникове, Заиде Кабылове и других в Самарканде говорят с такой же любовью, как о враче Мушараф Ниязовой, учительнице Темур Арифовой, профессорах Кособутцком и Абдуллаеве, народном мастере резьбы по ганчу Уста Кули и заслуженном художнике Бенькове.

Я не забыл записать эти имена. Я записал не только архивные сведения о том, что в 1907 году в Самарканде было два училища, где занимались 174 русских и 35 „туземцев“, как свидетельствует запис в материалах сенатской комиссии некоего графа Падена, обследовавшего край. Я записал (и думаю, что точно), что в 1947 году в Самарканде имеется 33 школы, в которых получают семилетнее и среднее образование 17800 детей трудящихся всех национальностей, что в шести вузах и одиннадцати техникумах учится 6000 узбеков и русских, таджиков и армян, татар и уйгур, украинцев и евреев — шесть тысяч будущих специалистов народного хозяйства советского Узбекистана.

СВЕТЛАНА СОМОВА —

О ПОЭЗИИ, РОЖДЕННОЙ ВОЙНОЙ

„Здравствуй, влеля молодое,
незнакомсе...“

А. Пушкин

В периодической печати Узбекистана за последнее время появляются имена молодых поэтов — Михаила Быкадорова, Владимира Мильчакова, Семёна Скраливецкого, Сергея Данилова, Александра Сечко и Дмитрия Захарова. Эти товарищи обладают разным дарованием и находятся на разном уровне овладения поэтическим мастерством, но по своим биографиям и содержанию своих стихов все они принадлежат к одному поколению — поколению молодых поэтов, прошедших с оружием в руках Великую Отечественную войну.

Это поколение сейчас входит в литературу и ему принадлежит ее будущее. Оно является многочисленным и многообразным по своим поэтическим особенностям отрядом, который несет в литературу новые, выработанные войной качества поэтов, готовых преодолеть любые препятствия, отдать все свои силы борьбе за осуществление великих идеалов Ленина — Сталина.

Молодые узбекские поэты Рамз Бабаджанов, А. Мухтаров, Мирмухсин, Янгин Мирза, Д. Шарипов и Шуктурулла в своем обращении к товарищу Сталину на съезде комсомола Узбекистана так говорят от имени своего поколения:

И юность наших дней, как партизанка Зоя,
Готова каждый миг пожертвовать собою.
Она всегда в шинель походную одета,
Нет для нее преград на всех дорогах света,
Для той, что Вислу, Рейн и Одер проплыла
И над Берлином стяг победы вознесла.

Русский поэт Сергей Наровчатов, родившийся на Волге, учившийся на Кольме, работавший на Большом Ферганском канале и воевавший на шести фронтах Отечественной войны, говорит о своем поколении в стихах, которые носят заглавие „Сверстники“:

Наш стаж еще не вымерен годами,
Пять лет от силы — вот он, кровный наш.
Но он шагал такими большаками,
Где день за год засчитывался стаж.
Мы правильность законов диамата
Проверили с винтовками в руках
На улицах Орла и Сталинграда,
На венских и берлинских площадях.
Испытанные партией на деле,
Мы с ней пришли к черте большого дня,
Когда нам приказали снять шинели,
Не оставляя линии огня.¹

Главное оружие, главная сила молодой советской поэзии — это утверждение особых свойств советского человека, выросшего в условиях социалистической экономики и культуры, воспитанного сталинской дружбой народов, в сознании превосходства советской системы над системой капиталистической. В этом году в Москве в издательстве „Московский рабочий“ вышел сборник „Молодая Москва“, впервые объединивший стихи двадцати двух молодых поэтов. Этот сборник — творческая заявка молодой советской поэзии. И на его материале я позволю себе разобрать ее некоторые черты.

Об особых свойствах и качествах советского человека говорит стихотворение Алексея Недогбнова „Превосходство“:

...Мы землю водой орошали —
Они ее брали в штыки,
Мы бронзой дворцы украшали —
Они из нее воскрешали
Для страшных орудий замки,

...Я видел свое превосходство
Над прусскою снежью во всем:
И в том, что мы любим сильнее,
И в том, что мы шире живем.

Да, сильнее любим и глубоко уважаем жизнь. И острое, проверенное битвами за жизнь, уважение к жизни является отличительной чертой молодой поэзии. Оно особенно проявляется в отношении к детям, в ощущении чувства отцовства этими юношами, большинством которых еще не достигло возраста отцов.

Двадцатитрехлетний солдат советской армии Владимир Федоров

¹ „Молодая Москва“, изд-во „Московский рабочий“, 1947 г.

в первом своем стихотворении, опубликованном в „Литературной газете“, пишет:

Я бережно на руки взял малыша
И тот меня папой зовет...
...Ну, что с него спросишь? Три года назад
Отца проводили в дому.
В то время и „папа“ не мог он сказать.
Полгода лишь было ему.
И может быть вовсе ребячьих кудрей
Ласкать не придется бойцу,
Но знай, белобрысый, что жизнью своей
Ты дважды обязан отцу.

Другая характерная черта молодой поэзии в том, что это поэзия больших расстояний и больших кругозоров. Она мыслит не масштабами одной улицы или одного города. Ее кругозор — кругозор всего советского государства, идеи которого, живой пример которого перестраивают весь мир. Она опирается на биографии поэтов, — участников больших событий, защитников Москвы, освободителей Польши и Югославии, людей, изучивших географию нашей страны и мира не только по учебникам.

Вера Скворцова пишет о старом своем глобусе, который она по-новому осмыслила, возвратившись с фронта:

Я стою, обняв рукой полмира
И прижавшись к родине щекой.

Виктор Урин пишет:

...На моей ладони
Прожилки, словно план Москвы.
Вот это — насыпь обороны,
Вот — заградительные рвы.
Я счастлив, что в борьбе кровавой
Душил я немца под Москвой
Вот этой преданной, корявой,
Не ослабевшею рукой.

Молодая советская поэзия опирается на всю культуру человечества и сама глубоко культурна, глубоко требовательна к жизни и к самой себе.

Узбекские поэты говорят, обращаясь к своему поколению:

Учись, используй всю культуру человека,
Изобретай большой мотор — машину века,
Властителем больших машин и мыслей будь,
По сталинским словам свой направляя путь.

Молодым поэтам, прошедшим трудную школу жизни, школу войны, выпало на долю большое счастье: они сами являются героями своих стихов, личный опыт является материалом их поэтической работы. Поэтому так убедительна и интересна их фронтовая лирика, являющаяся своеобразной документацией времени.

Поэты-воины сняли с плеч шинели, но и на новом своем творческом пути они стремятся к тому, чтобы поэт и герой времени были неотделимы друг от друга. Герой нашего сегодняшнего дня — это участник восстановления и строительства советской родины. И стремление не идти по следам героя, а самому прокладывать путь героя, характерно для поэта, рожденного войной.

Семен Гудзенко пишет:

После битв больших и малых
На большой войне,
После песен на привалах
Сколько воинов бывалых,
Путников в стране.
Начиная жизнь иную,
Выбирают для жилья
Кто Карелию лесную,
Кто Украину степную,
Кто рязанские края.
Я дорогой журавлиной
Полечу и посмотрю
На Фархадскую долину,
На амурскую зарю.
И потом в стихах об этом
Расскажу моим друзьям,
И они уйдут с рассветом
По неведомым краям.

Мужественные, четко формулирующие свои мысли, согретые горячей верой в силу советского человека, стихи молодых поэтов огромной действительностью своего содержания выходят в авангард советской поэзии, внося в нее новое ощущение жизни.

* * *

По своим биографиям, идеям и содержанию своих стихов молодые поэты-узбекистанцы принадлежат к фронтовому поколению поэтов, переживших трудности походов и радость победы.

Нет, не по книгам будем мы читать
Рассказ о бое, красочный и длинный,
О том, как шла на запад наша рать,
Как дрались мы на улицах Берлина.
В истории войны — великий том
Об этих днях, днях ненависти жгучей,
Написан нашим боевым штыком
И нашей кровью молодой, кипучей,

пишет участник боев под Берлином Владимир Мильчаков.

На теле, на костях моих видны
Кровавые зарубины войны,—

говорит солдат советской армии Михаил Быгадоров. „Бывало“, — вспоминает он, —

Не двинешь коченеющей руки,
К сугробам примерзают каблуки,
А в сердце били жаркие ключи,
Твои, Россия, яркие лучи.
И каждый, собираясь умереть,
Мог сотни жизней верою согреть.

Дмитрий Захаров в стихотворении „Последний бой“ пишет:

Да, умирать мы не имели права.
Чтоб грозное отмщенье довершить,
Чтоб мир опять воспрянул, величавый,
Нам жизнь тогда приказывала —
Жить.

За плечами молодых поэтов большой путь войны, и сейчас, пока не заслопнулись временем впечатления, не стерлись в памяти картины увиденного на этом пути, поэты — участники больших походов — перебирают содержимое своего литературного вещевого мешка, пытаются писать свою повесть о великих днях.

Какова же у каждого из названных поэтов его повесть о великих делах? Насколько умело привлекает он именно те образительные средства, которые наиболее полно отображают наше время?

Стихи Владимира Мильчакова интересны страстным своим патриотизмом и динамичностью. Поэт пробует свои силы и в публицистической лирике, и в сюжетных стихах и в лирике интимной. Наибольшей удачей автора является, по моему мнению, стихотворение „Родине“.

Я видел, как плакали наши солдаты,
От слез не добрея, а делаясь злей,
Когда оставляли сожженные хаты,
Последние хаты на нашей земле.
...Я видел, как камни колючие Бреста
Целовал истомленный походом солдат...
...Я видел, как наш командир эскадрона,
Три раза задетый осколками мин,
С лицом искривленным, с закушенным стоном,
Но все-таки первым ворвался в Берлин.
Я с ними прошел через все непогоды,

Насквозь проморожен, простужен, прожжен...
Во имя отчизны, во имя свободы,
Во имя окрашенных кровью знамен.
Был тяжек наш путь... Эту тяжесть не смерть,
Но кровью людей, что легли на пути,
Их кровью клянемся, — пусть Родина верит, —
Что путь этот снова сумеем пройти.

Достоинство этого стихотворения в том, что оно построено на одном чувстве, имеет свой лирический сюжет, развертывающийся при помощи совершенно конкретных деталей.

Первые две строки заключают в себе основную мысль стихотворения — они говорят о горе, принесенном народу фашистскими извергами, о страдании, рождающем ненависть к врагу, об исполинской силе советских богатырей. Автор как бы является просто свидетелем событий и рассказывает о них скупыми, суровыми словами. С той же сдержанной разговорной интонацией говорит он о солдате, целующем после атаки камни Бреста, о командире своего эскадрона, первым ворвавшимся на улицы Берлина. Это стремительное движение живых фактических деталей создает перед читателем образ грозного наступления нашей советской армии.

От командира своего эскадрона автор совершенно естественно переходит к самому себе. И здесь из сдержанного и сурового повествования о тяжелом пути возникает новая интонация, обобщенные, исполненное глубоко-оптимистического гражданского пафоса:

Но кровью людей, что легли на пути,
Их кровью клянемся, — пусть Родина верит, —
Что путь этот снова сумеем пройти.

Эмоциональность этих строк увеличивается повтором „их кровью“ и вводным предложением „пусть родина верит“. Поэт говорит не только от своего имени, а от имени всего поколения победителей, всего советского народа.

Это стихотворение свидетельствует о больших творческих возможностях поэта, в нем он сумел найти особенности своего стиля; точный повествовательный язык, реалистические детали и большую вневольнованность лирического ощущения.

Недостатком стихов В. Мильчакова является небрежность языка, очень часто допускаемые общие места, шаблоны, вроде: „огненного разгула“, „свирепого воя“, „ликующей Польши“, „цветущей родины“, „разгромить берлогу зверя“ и т. д. Иногда в стихе звучат чужие интонации: то Маяковского, то раннего Луговского. И это свидетельствует о недостаточной внимательности поэта к самому себе, ибо В. Мильчаков имеет все данные для того, чтобы стать вполне самостоятельным и квалифицированным мастером слова.

Стихи Михаила Быкадорова разделяются на два цикла — цикл фронтовых стихов, в своем большинстве сюжетных, и цикл стихов о созидательном труде после войны.

Во фронтовых своих стихах поэт часто находит яркие лирические обобщения:

В моем роду усидчивости нет,
Но деды и за сотни долгих лет
Не обошли того в своих походах,
Что внук исколесил за эти годы.
Когда б все тропы пройденные — в нить,
В струну единую соединить,
Хватило бы натянутой струной
Свободно опоясать шар земной, —

говорит поэт о своем военном пути.

Интересно его стихотворение „Однополчанину“, говорящее о сохранении традиций боевой дружбы.

Теперь, в какую б сторону
Дороги не веди,
Обычай старый — поровну
И хлеб и труд дели.

В стихотворениях „Кузнец“, „Тракторист“, „Мы снова мастера“ поэт пытается создать образы строителей нашей родины.

Мы замуруем трещины и щели,
Забьем проломы и дома побелим.
Амбары наши, закрома и склады
Наполним золотым зерном отрады.
...Нам нужен труд. И он повсюду будет —
Труд радостный, как солнце на восходе,
Могучий труд, как время плодородья, —

пишет он, прославляя трудовой героизм народа.

В стихах Михаила Быкадорова еще сильнее сказывается невыработанность языка и отсутствие своего поэтического стиля. Обладая совершенно несомненным дарованием, он зачастую разрешает свои стихи, как газетные информации, описывающие какое-либо единичное явление и вместо лирического обобщения заканчивающиеся риторическим восклицанием, вроде: „Так будь же щедрым, день весенний, и труд, и песня, и любовь“.

Творчеству Быкадорова свойственны песенно-народные интонации. Они отчетливо видны, например, в стихотворении „Пастушонок“.

Сейчас он дудку резать кончит,
Очнется песня, заструится.
Замолкнет на заборе кочет
И соловей насторожится.

В стихотворении „Однополчанину“:

Пусть отдохнет оружие,
Горнист пропел отбой,
Прощай, соратник мужества,
Однополчанин мой.

В таких строках, как: „Если голубь уцелел — будут голубята“, или: „Уезжал на фронт боец, а пришел домой — кузнец“. И нам кажется, что именно в этом следует искать Быкадорову самого себя как поэта.

Работа Семена Скраливецкого интересна тем, что он пытается приблизиться к психологической лирике. Стихи его музыкальны, грамотны, но в них еще сильно ощущаются посторонние поэтические влияния.

Тропинка лирического поэта — самая трудная из всех литературных тропинок, ибо здесь надо обладать большим чувством сопротивления чужим влияниям и надо уметь особенно чутко отбирать для стихов именно те свои душевные порывы, которые типичны для людей твоего времени.

В стихотворении „Родине“ С. Скраливецкий находит задушевность и выразительность интонационного рисунка:

Ты здесь, ты со мной, я тебе улыбаюсь,
Земли твоей тихо касаюсь рукой...
О родина, песня моя голубая,
Багряная ива над синей рекой.

О, как я люблю тебя, как тебе внемлю,
Как близок мне запах предутренних рос...
Мой край! Я готов целовать твою землю,
В которую верил, с которую рос.

Это стихотворение обладает одним очень серьезным недостатком: оно не несет в себе отличительных черт времени, в которое написано. Такие стихи могли быть написаны и во время Отечественной войны, и до нее, и даже до Октябрьской революции. Некоторая отвлеченность свойственна всему творчеству Семена Скраливецкого, и только преодолев ее, только насытив свой стих конкретными реалистическими деталями сегодняшнего дня, сможет он найти дорогу к поэзии.

В заслугу Александру Сечко надо поставить то, что он пытается отразить в своих стихах темы жизни современного Узбекистана — у него есть стихи о сборе хлопка, об узбекских колхозах. Но темы эти разрешаются им поверхностно, и его стихи не являют читателю ни духовного мира героев колхоза, ни даже узбекского пейзажа.

Автор пытается осмысливать материал, еще плохо ему знакомый. И если убрать из стихотворений такие слова, как Салар,

тополя и, допустим, айва, — то весну, описанную поэтом, можно отнести с одинаковым успехом к любой полосе России.

Для А. Сечко больше, чем для кого-нибудь другого, главная задача состоит в том, чтобы выбраться из уже ставшего ему привычным банального и невыразительного лексикона, искать острые сюжетные ситуации, яркие неожиданные слова, описывать большие человеческие чувства.

Творчество Дмитрия Захарова, известное нам по нескольким напечатанным и находящимся в портфеле редакции стихотворениям, с первых же своих шагов вызывает опасения в правильности пути, избранного автором.

Молодой поэт начинает свою работу с использования шаблонов и вместо внутреннего разрешения темы преподносит читателю рифмованные лозунги, не отличающиеся ни оригинальностью мысли, ни мастерством формы.

Поэзия должна быть оригинальна, должна быть неожиданна, поэт должен быть неустанным разведчиком и изобретателем. И с самого начала работы поэту важно понять свои недостатки и творчески преодолевать их вместо того, чтобы беспомощно в них копошиться, перепевая самого себя и повторяя слова, многократно сказанные другими.

Нужно помнить, что время, когда поэт „подает надежды“, считается „начинающим“, строго ограничено, и нет ничего страшнее подавать надежды и не выполнять их на всем протяжении своей литературной деятельности.

Поэт Сергей Данилов серьезнее подходит к своей работе. Он ищет своего поворота темы, глубже ее осмысливает и внимательнее разрабатывает. Так, в стихах о Каспии он рассказывает, как переправлялись через грозное море войны Советской Армии, как „поняв, что мы свои, трое суток шумел в ушах, но к бою доставил Каспий“. Такой же неожиданный поворот в стихотворении „Журавли“, очень лирично рассказывающем о том, как над полем появился косяк журавлей и опустился на землю, занятую советскими войнами.

К нам в гости прилетели журавли
И принесли на крыльях цвет черемух.

Интересно и стихотворение „Моя родословная“, в котором автор говорит о традициях славного русского оружия, о своем пращуре, служившем рядовым в новгородской дружине у Александра Невского, сражавшемся под Полтавой, перешедшем Альпы, о пращуре, отстоявшем от врагов русскую землю,

И снимая шапку у могилы,
Что хранит покой богатыря,
Думаю, — от этого Данилы
И пошла фамилия моя.

Трудно предугадать будущее молодого поэта, зависящее, в основном, от количества неустанного взыскательного творческого труда, которым он будет обогащать и развивать свое дарование, но путь работы Сергей Данилов избрал правильный.

* * *

Подводя итоги сказанному и желая больших успехов молодой поэзии на ее творческом пути, хочется сказать несколько слов об ее задачах.

Основное, над чем должны работать молодые поэты, — это изучение основ марксизма-ленинизма, изучение трудов товарища Сталина.

Это — путь к расширению своего творческого круговора, к осмыслению процессов, происходящих в обществе, путь к тому, чтобы поэт обрел силу гражданского пафоса своего времени.

В „Кратком курсе истории ВКП(б)“ есть золотые слова, весьма применимые к писателям. Они гласят: „Герои, выдающиеся личности могут играть серьезную роль в жизни общества лишь постольку, поскольку они сумеют правильно понять условия развития общества“... (Разрядка моя. С. С.) Герои, выдающиеся личности могут попасть в положение смешных и никому не нужных неудачников, если они не сумеют правильно понять условий развития общества и начнут переть против исторических потребностей общества, возомнив себя „делателями“ истории.“

Освоив методологию Маркса, Ленина, Сталина и руководствуясь ею, молодые писатели должны неустанно учиться, овладевая знаниями, накопленными человечеством.

Вторая задача, которую ставят перед писателями партия и правительство, — посвятить все свои силы, весь свой талант современной теме, показать характерные, утверждающие жизнь качества именно нашего советского времени, именно нашего советского человека.

В этом отношении к русским поэтам Узбекистана можно предъявить особо строгий счет. Мы живем в молодой республике, в передовой республике Советского Востока и не видим, не отражаем в своих произведениях ее жизни, ее роста, замечательных сдвигов, происходящих в экономике и сознании людей.

Русские поэты много лет живут в Узбекистане. Они забыли уже, как пахнут русские травы, но не знают, какие же травы растут на земле Узбекистана, не знают языка народа, его истории, его фольклора, его быта. А именно здесь — огромный, невозделанный еще поэзией, простор для творческих открытий, богатый материал советской эпохи, ожидающий своего художника, своего певца. Больше ста лет тому назад Михаил Юрьевич Лермонтов, открывший Кавказ для русского читателя, говорил Краевскому:

„Я многому научился у азиатов... Поверь мне, там, на Востоке — райник богатых откровений.“

Перед нами, участниками строительства Большого Ферганского канала и первого в Узбекистане металлургического завода, счастливыми свидетелями рождения и расцвета нового Советского Востока, стоит благодарная задача — написать о нем песни для новых поколений.

И третье, о чем надо неустанно думать молодому поэту, это — о своем собственном творческом методе, о своей поэтической тропинке. На нее выйти не так просто, не каждому сразу удается обрести свой, непохожий на других, стиль. Великий русский композитор Чайковский, уже создавший большую половину своих бессмертных произведений, писал в письме к Балакиреву:

„Несмотря на почтенный возраст и значительную опытность в писании я должен признаться, что до сих пор блуждаю по безграничному полю композиторства, тщетно стараясь найти свою настоящую тропинку. Чувствую, что такая тропинка есть, знаю, что я найду ее...“

Неустанному трудовому подвигу, подвигу поисков и дерзаний на благо советского народа должны отдать свои таланты, свои силы молодые писатели. Народ ждет новых произведений. „Показать эти новые высокие качества советских людей, показать наш народ не только в его сегодняшний день, но и заглянуть в его завтрашний день, помочь осветить прожектором путь вперед — такова задача каждого добросовестного советского писателя“, — говорил товарищ Жданов в своем докладе о журналах „Звезда“ и „Ленинград“.

Молодая поэзия нашего времени, рожденная войной и на войне прошедшая огневую закалку, имеет все возможности для того, чтобы выполнить это требование большевистской партии и всего советского народа.

Мы знаем, что краса всей нашей жизни — труд,
Что наша преданность своей отчизне — труд,
Что каждый камушек народного труда
Мостит широкий путь в грядущие года.

Мы путь к грядущему великий проведем,
Страну по рельсам мы из стали поведем,
Закалена в труде и битве наша сталь...
Счастливого пути нам в коммунизма даль, —

пишут молодые узбекские поэты от имени своего поколения, обращаясь к вождю народов товарищу Сталину.

Счастливым путем тебе, рожденная войной молодая советская поэзия.

В. ЗАХИДОВ

Доктор философских наук.

„ХАЙРАТ-УЛЬ-АБРАР“ *

„Хайрат-уль-Аббар“ является первой поэмой, входящей в состав „Хамсы“ („Пятерицы“) — собрания пяти поэм великого узбекского поэта Алишера Навои. Создание „Хамсы“ считалось на Востоке высшим достижением поэзии. Только таким гениальным поэтам, как Низами Гянджави, Хосров Дехлеви и Абдурахман Джамии, удалось создать свои „Пятерицы.“ Но все они писали на фарсидском языке.

Заслуга Навои заключалась не только в том, что он создал „Хамсу“, но и в том, что он написал ее на своем родном — староузбекском языке, на котором создание какого-либо серьезного, крупного художественного произведения в писательских кругах того времени, находившихся в плену косных литературных традиций, считалось почти невозможным и даже недостойным подлинного поэта делом. „Хамса“ Алишера Навои составила эпоху в истории развития узбекской поэзии.

Великий иранский поэт Абдурахман Джамии недаром назвал „Хамсу“ Алишера Навои „дивным сочинением“.

Поэмы, из которых состоит „Хамса“ Навои, являются не только выдающимися художественными произведениями, но вместе с тем они содержат в себе ряд замечательных философских, общественно-политических и научных высказываний, характеризующих мировоззрение великого узбекского поэта.

В „Хайрат-уль-Аббар“ — в главе о значении и назначении слова (и языка) Навои излагает некоторые основные моменты своего учения об эстетике. Поэт указывает, что художественное слово вообще и поэтическое в частности, имеют исключительное значение в деле воспитания человека. Самое ценное поэтическое слово то, которое, во-первых, является правдивым, т. е. правильно отображающим реаль-

* „Изумление праведных“.

ность, во-вторых, благородным, воспитывающим людей в истинно-человеческом духе и помогающим оздоровить общество.

Навои придает весьма большое значение вопросу взаимоотношения между формой и содержанием в художественной литературе. Он утверждает, что содержание имеет в художественном произведении первостепенное значение; причем оно должно быть благородным и полезным для народа. Что касается формы, то, во-первых, ей принадлежит хотя и важная, но, в сравнении с содержанием, второстепенная роль, а во-вторых, чтобы сыграть подобающую своему значению роль, она должна соответствовать содержанию, вкладываемому в нее, должна быть высокого качества, приятной, красочной, волнующей. Содержание без соответствующей формы мертво, а форма без соответствующего содержания бессмысленна, пуста. Содержание и форма должны находиться не в исключительном друг друга положении, а в гармоническом единстве, они должны взаимно дополнять друг друга, но при этом преимущество всегда должно оставаться за содержанием.

Характеризуя это преимущество, Навои говорит, что „содержание — тело красавицы, а форма — весь наряд, все одеяния, которыми украшают это тело и которые придают особую прелесть, обаяние красавице, дополняют ее красоту“.

Высказывания Алишера Навои о форме и содержании художественного произведения были в корне противоположны распространенному тогда на Востоке эстетическому учению о том, что форма — все, а содержание — ничто, что содержание является или должно являться подчиненным форме, что форма является или должна являться образующим содержание началом, что искусство должно служить задачам, не связанным с реальными интересами человека.

В главе поэмы „Хайрат-уль-Абрар“ о правителях мы находим высказывания Навои, вносящие ясность в его взгляды на государство и шахскую власть. Навои беспощадно критикует шахов-тиранов, шахов-деспотов, дурных чиновников, их несправедные действия, направленные против интересов народа и страны. Он показывает всю грязь дворцовой жизни — разврат, пьянство, интриги, раздоры между отцом-шахом и его сыновьями, порождающие губительные для народа, страны междоусобицы, бесцельное кровопролитие и т. д.

„Царь, трон дал тебе мощь, но ты пошел по пути тирании, ибо ты весь отдался развлечениям, предался развратным оргиям. Нити занавесей дворца, прекрасного, как сады рая, построенного для твоих пиров, вытянуты из души народа. Краски, подобные рубину, которыми покрашен этот дворец, добыты из крови народа. Солнцеподобные лепные украшения на потолке светят золотом, принадлежащим народу. Весь твой дворец из жемчугов и рубинов, принадлежащих народу. Кирпичи этого дворца — из разрушенных мечетей, а камни — с кладбища доставлены.“

Но в этой же поэме, обращаясь к шаху, поэт поучает его:

Ты должен постоянно заботиться о нуждах и благополучии людей, ты должен быть верным, заботливым и внимательным пастухом, должен охранять народ, защищать его интересы от волков. Помни, если этого не сделаешь и если угнетенный тобой народ не простит твоих грехов и преступлений, то тебя непременно постигнет гибель, а после твоей смерти ты вечно будешь находиться в аду, в адском пламени."

Из этих отрывков явствует, что Алишер Навои вовсе не помышлял об изменении общественного порядка. Он не высказывал взглядов, направленных против царской власти вообще, а мечтал лишь о справедливом царе, разумном правителе, проявляющем заботы о народе, о шахе, подобном мудрому пастырю, который печется о своем стаде.

Следующую главу поэмы „Хайратуль-Аббар“ Навои посвящает бичеванию дурных нравов мусульманского духовенства. Реакционных представителей духовенства поэт подвергает уничтожающей критике. Он разоблачает темные, стяжательские махинации, с помощью которых всевозможные дервиши, имамы, ишаны и им подобные развращают простонародье, обманывают, разоряют людей, ввергают их в нищету, держат их в тьме суеверий и невежества, а сами живут за счет народа, не зная горя и нужды, занимаясь грязными делишками, предаваясь самому разнузданному разврату. Во вдохновенных, подлинно сатирических строках поэмы мастерски показана вся гнусность жизни духовных лиц, паразитировавших на теле народа. Навои говорит, что духовенство одних превращает в мистиков, заставляя их отречься от мира, от его прелестей и жить только надеждой на загробную жизнь, других — в подобных себе лукавых тунеядцев. Духовные лица сеют раздор между людьми и являются источником интриг, сплетен, клеветы.

Насколько резка, убийственна эта критика и насколько далеко заходит она, видно из следующих строк:

„О шейх, умеющий искусно носить рубище дервиша, с утра и до ночи в зикре издающий вопли. Узоры, разбегающиеся по твоему халату, вышиты из обмана и лицемерия... Палочку, служащую зубочисткой, он пачкает грязной своей слюной... Смешно свесил он свою нелепую бороду, как козел, забравшийся на кривое дерево. Но козел поймал вора, а шейх — он сам вор... Найдя дом сплетен и злословья, забрался в него и назвал этот дом мечетью и ханака... В одежде его — мускус, благоуханье, радость, а в его сердце гниют стодохлых собак... Эти люди худшие из всех худших, нет хуже их, нет хуже их. Снаружи он безупречен, а внутри полон и рчи, сверху чист, а внутри грязен, как отхожее место.“

Справедливость требует сказать, что в истории общественной мысли Востока очень мало можно найти примеров столь резкой критики всемогущего духовенства, хотя Алишер Навои никогда не доходил до прямого отрицания религии, до атеизма.

В той же поэме Навои, исходя из позиций своей общепhilософской системы, отнюдь не материалистической, а идеалистической, т. е. пантеистической, доходит до ревизии некоторых основных положений религии ислама. Здесь можно найти довольно решительные утверждения о конечности существования индивидуума. Навои говорит, что жизнь неповторима. Пока дышит человек, он жив, а после его смерти начинается небытие, ничто.

Обращаясь к мусульманину, верующему в потустороннюю жизнь, надеющемуся на лучшее в том мире, в раю, боящемуся адских мук, не ценящему реальную жизнь, Навои пишет:

„Пока есть дыхание — ты жив... Поди, отбрось невежество, будь разумным, хоть коротко послушай наставленья... Завтра или вчерашний день — небытие, ничто. Знай, что у тебя в наличии только сегодня, вернее сей миг.“

Мысли Навои были весьма дерзкими в условиях восточного средневековья, когда господствовали религиозно-мистические суеверия, а широчайшие народные массы, донельзя экономически и духовно забытые, были отравлены ядом фанатизма.

Из высказываний Навои отнюдь нельзя делать вывод, что он целиком отрицал загробную жизнь, бессмертие души человека. Не надо забывать того, что там, где Навои говорит о конечности существования индивидуума, он это делает, исходя из своей идеалистической системы, объявляя все конкретное проявлением единого бога, а эту всеобъемлющую божественную субстанцию вечной, бессмертной.

В главе поэмы о сдержанности, нетребовательности Навои подвергает критике многие стороны паразитической феодальной морали. Он бичует тех, которые, не ограничиваясь одним бокалом вина, весь „смысл“ своей жизни видят в непрерывном пьянстве; тех, которые, занимаясь развратом, топчут честь женщины, разрушают семью и счастье беззащитных, веселятся в публичных домах, в гаремах, куда стогнают девушки, женщины из народа.

Алишер Навои высказывает в поэме поистине гуманные мысли. Он прежде всего выдвигает тезис о том, что каждый, не нарушая покой и счастье других, сам должен, если он в состоянии, заниматься созидательным трудом, полезной работой и ограничиваться плодами этого своего труда, не посягая на достояние того, кто таким же путем достиг его. Тот, кто не соблюдает этого, станет самым презренным из людей, превратится в объект их проклятий.

Таким образом поэт выступает как певец созидательного общественно-полезного труда.

Навои пишет:

„Два гроша, добытые честным трудом, лучше сокровища — шахского подарка... Со спокойной душой кушать самую простую пищу благороднее, чем есть самую лучшую пищу, отнятую у других. Днем занимаюсь различными видами труда, будь они хоть самыми тяжелыми, вечером украсить дом плодами его, лучше, чем, предаваясь алчности, несдержанности,

стократ унижать труд. Того, кто отверг сдержанность, алчность превратит в презренного среди народа."

В главе поэмы о милостыне приводится весьма характерная притча, в которой рассказывается, как некий расточительный богатч по имени Хатам Тайи встретил в степи глубокого старика, тащившего на своей спине тяжелую вязанку хвороста. Хатам Тайи обратился к старику со словами:

— Эй, мученик труда, почему ты себе причиняешь такое страдание? Разве не знаешь, что Хатам Тайи и сегодня сделал большое угощенье людям... Почему ты не идешь туда?..

Тогда, — рассказывает притча, — старик ответил:

— Эй, не испытывший сладостей, прелестей честного труда! Иди, ты тоже попробуй потрудиться вот так, как я, и не надейся на Хатама Тайи, ибо жить за счет других, имея способность и возможность трудиться и добывать таким путем средства для жизни, есть низость. Один грош, добытый своими руками, лучше целого сокровища, полученного от других."

Не трудно заметить, что у Алишера Навои уже в какой-то мере возникает мысль о несправедливости такого положения, когда в руках одних накапливаются неисчислимые богатства, а уделом других является беспросветная нищета. Но тут же надо отметить, что взгляды Навои на этот предмет носят самый общий характер. Поэт не мог понять, что рабский, кабальный труд, являющийся источником богатства кучки людей, является неизбежным во всяком эксплуататорском обществе, а следовательно и в том обществе, к которому принадлежал он сам.

В главе поэмы о любви рассматриваются проблемы исключительной важности. В противоположность суфийскому мистическому учению о любви, по которому надо любить абстрактного, где-то вне времени и пространства существующего бога, отказавшись от реальной жизни и стремясь к потустороннему миру, к тому, чтобы ускорить час смерти — освобождения души от клетки — оболочки (тела), к тому, чтобы уничтожить свое индивидуальное "я", растворить его в космическом "Я", т. е. слиться с этим абстрактным богом, в чем и должно заключаться вечное благо и вечно счастливая жизнь, — Навои пытается связать человека с действительностью, советует ему стремиться к лучшей жизни на земле.

Известный на Востоке мистик суфий Джаляледдин Руми, определяя объект и назначение любви, писал:

Любовь — это к небу стремящийся ток,
Что сотни покровов прорвал и совлек.
В начале дороги — от жизни уход,
В конце — шаг, не знавший, где след его лег.

(Перевод Дунаевского)

Среднеазиатский суфий Ахмед Ясави, проповедал такую "чистую любовь", также говорил:

„Эй, друзья! Я пустился на путь любви чистой и считаю своим врагом мир посюсторонний, через мучения прошу бога, чтобы он взял меня в свои объятия. Из-за потустороннего мира отказался от посюстороннего я.“¹

Алишер Навои решительно выступает против такого понимания любви. Он восторженно воспеваает природу, в исключительно красочных образах описывает ее прелести, красоту и содержащиеся в ней реальное добро, благо. Человек, по его мнению, занимает в природе особое, исключительное место среди всех живых существ. В противоположность мистикам-суфиям, которые считали человека существом несовершенным, жалкой, обманчивой тенью бога, Навои ставит „красоту и прелести в нем (человеке) выше всякой фантазии“.

Было бы однако абсолютно ошибочным предполагать в связи с этим у Навои наличие каких-то зачатков материалистического понимания реальности. Навои всегда оставался на почве идеализма. Вся природа, в том числе человек, согласно взглядам Навои, является проявлением совершенного единого бога. Следовательно, вся природа, в том числе и человек, есть само священное бытие.

Превращая природу и человека (как формы проявления божественного начала) в объект любви, поэт вкладывает в понятие любви широкий социально-философский смысл. Человек — в понимании Навои — обладает подлинно человеческими качествами, как то: любовью к природе, к свободе и чести, к общественно-полезной работе, науке и т. п., но особенно поражает поэта любовь человека к человеку, стремление человека бороться не только за свои интересы, но даже в большей мере, — за интересы другого человека, относиться к другому, как к своему возлюбленному, горевать, когда этот другой в горе, несчастья, и всемерно помогать ему, стараясь избавить его от горя, несчастья и уметь радоваться, когда рад этот человек, или, как выражается Навои, этот возлюбленный (или влюбленный).

Между людьми должны господствовать принципы благородной взаимной любви, преданности. В противном случае как в самом обществе, так и среди его членов будут господствовать горе, несчастье, зло..

Навои беспощадно критикует тех, кто противопоставляет себя, свои личные интересы народу, его интересам. Он пишет:

„Если кому-нибудь достанется страдания от мира, что станется с человеком, если не будет с ним возлюбленного, помощника?! Даже сто человек беспомощны, если они разобщены. Где видно, чтобы одинокого считали человеком?! Одинокий не может стать человеком, не найдет исцеления своим страданиям. Знай, что у одинокого человека дом счастья всегда стоит покосившись. Разве может быть единственный столб опорой дома...“

¹ Ахмед Ясави. „Хикмат“.

Так трактует темы любви, верности и преданности Алишер Навои в своей поэме "Хайрат-уль-Абрар".

Взгляды Навои на отношения человека к окружающему, к природе и на отношения человека к человеку и человека к обществу, противопоставленные господствовавшим тогда мистицизму и фанатизму, несмотря на свои недостатки и ограниченность, обусловленную временем, сыграли большую положительную роль в росте самосознания народа, они судили в нем лучшие чувства. Однако при оценке взглядов великого поэта и его творчества не следует забывать, что мировоззрение его было в своей основе идеалистическим, его взгляды на отношения человека к человеку и человека к обществу в условиях наличия борющихся друг с другом антагонистических классов были не только утопичны, но объективно могли играть и примиренческую роль. Мы знаем, что в произведениях Навои есть немало строк, где он оплакивает тщетность своей мечты.

Говоря о поэме "Хайрат-уль-Абрар" Алишера Навои, нельзя не остановиться на высказываниях поэта о науках, их значении, об их отношении к обществу, народу, о тяжелом положении деятелей науки того времени, о том, что народ был лишен возможности приобщаться к культуре, к науке.

Наукам Навои придает колоссальное значение. Он утверждает, что важнейшим делом, обязанностью каждого человека является овладение науками. Вместе с тем, поэт подвергает резкой критике тех, кто превращает свою ученость и науку в источник и орудие личной наживы. Таких ученых Навои сравнивает с жадной собакой, а их науку — сдохлым животным, из-за трупа которого грызутся эти собаки. Навои утверждает, что ученые должны служить, прежде всего, общественным интересам, благу страны и народа. Таких ученых Навои называет самыми лучшими из людей, "рудником драгоценностей", источником света.

Призыв Навои к науке, к разуму, к изучению природы на пользу общества имел весьма большое значение, особенно в условиях восточного средневековья, в условиях господства невежества и мистики.

* * *

В поэме "Хайрат-уль-Абрар" Навои, как сын своей эпохи, допускает противоречия при решении некоторых вопросов (например, потусторонний загробный мир и возможность жизни там и т. д.). Мы у него наблюдаем даже мистические настроения. Но, несмотря на это, в своей поэме Алишер Навои высказывает передовые, дерзновенные для тех времен мысли.

"Хайрат-уль-Абрар" является замечательным произведением. Прогрессивные, благородные идеи, которые украшают страницы этой поэмы и которые безусловно могли волновать умы и сердца миллионов обездоленных и притесненных, Навои развивает потом уже в художественных образах во всех остальных произведениях, вошедших в его "Хамсу" (Пятерицу).

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

III. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ АЛИШЕРА НАВОИ

XV век н. э., на рубеже которого мы остановились в предыдущем очерке¹, был для Средней Азии в политическом отношении периодом неурядиц и междоусобных войн. В 1405 году умер Тимур, родоначальник династии тимуридов; его огромное государство, возникшее в результате грабительских войн и хищнических набегов на ближние и дальние страны, вскоре распалось на ряд более мелких владений. Во главе их стояли соперничавшие между собой сыновья и внуки Тимура.

В результате этих междоусобий на территории державы Тимура возникло два фактически самостоятельных государства со столицами в Самарканде и Герате. Если в первой половине XV столетия любимый город Тимура Самарканд еще сохранял значение главного культурного центра некогда управлявшейся Тимуром территории, то, начиная с 70-х годов этого века, культурное преобладание прочно перешло к Герату, крупнейшему городу Хорасана. В значительной степени это объясняется влиянием реакционной идеологии самаркандских дервишей во главе с известным Ходжей Ахраром, принципиальным противником всякой учености и культуры.

В Герате с 1407 по 1447 год правил сын Тимура — Шахрух, получивший звание наместника Хорасана из рук своего отца. На самаркандском престоле утвердился царь-ученый Улугбек; сын Шахруха. Между Гератом и Самаркандом шла упорная борьба за культурное и политическое господство, закончившаяся, как уже сказано, победой столицы Хорасана.

¹ См. «Очерки по истории узбекской литературы». «Звезда Востока» № 1, 2-3—1947 г.

В первые годы после смерти Тимура Хорасан выставил на арену поэтического соревнования видного своего представителя, стихотворца Дурбека.

О жизни Дурбека мы ничего не знаем. Как и многие его соотечественники по перу, писавшие на древне-узбекском языке (Хорезми, Кутб, Юкнаки и др.), Дурбек не сообщает о себе никаких биографических подробностей. Из произведений Дурбека до нас дошло лишь одно: поэма „Юсуф и Зулейха“ на тему библейской легенды об Иосифе прекрасном, приводимой также и в коране. Для нас наиболее интересно, разумеется, предисловие к поэме, где Дурбек говорит об обстоятельствах ее написания и дает ряд реалистических зарисовок окружающего. Из предисловия мы узнаем, что Дурбек создавал свое произведение в хорасанском городе Балхе в 1410 году, когда Балх подвергся осаде. Жителям города приходилось нелегко. Жестоко страдал от лишений и сам Дурбек.

Был я тоже с другими пленником,
Осведомлен был во всех их тайнах, —

говорит он. В эти тяжелые дни Дурбек пытался найти отраду в чтении:

Иногда я читал слова аллаха (коран),
Иногда заглядывал и в другие книги.
Порою просматривал я книги рассказов,
Порой шил напиток горестей.
А из рассказов душа моя склонялась
В то время больше всего к рассказу о Юсуфе,
Он (Юсуф) был в то время мил моему сердцу,
И рассказов о нем искало сердце.

В распоряжении Дурбека был прозаический персидский вариант легенды об Иосифе прекрасном, которую он и решил изложить в тюркских стихах. Возникшая таким образом поэма написана „арузом“ (арабским метром) в форме „месневи“, т. е. стихов, рифмующихся по полустипхам. Легенда точно передана в поэме Дурбека в своих основных моментах, но много в этой поэме и новых черт, которых в коране нет. В образе Юсуфа, очерченном священной книгой мусульман довольно абстрактно и схематично, Дурбек подчеркивает положительные человеческие черты; поэма проникнута мужественным оптимизмом, не часто звучащим в произведениях фаталистически настроенных мусульманских писателей. Пленяет в поэме Дурбека быстрое, непрерывное развитие сюжета и реализм отдельных подробностей, придающий изложению живость и яркость. Язык Дурбека, характерный обилием персидских заимствований, тем не менее довольно прост и понятен; в лингвистическом отношении его „Юсуф и Зулейха“ — дальнейший шаг в сторону приближения к живым наречиям Ферганы и Хорасана. Связь с более древней языковой традицией, однако, еще чувствуется в некоторых архаических словах и оборотах.

В области древне-узбекской лирической поэзии ведущее место в первой половине XV века бесспорно принадлежало уроженцам Мавераннахра, т. е. в широком понимании этого географического термина — современного Узбекистана. В творчестве некоторых из этих поэтов чувствуется явное влияние ранее созданных образцов; в частности — „Мухаббат-Намэ“ Хорезми. Откровенным подражанием его „Книге о любви“ являются например: „Латафат-Намэ“ (Книга приятности) Кемалья Ходженди и „Таашшук-Намэ“ (Книга о влюбленности), принадлежащая перу внука Тимура Сиди-Ахмеда.

Кемаль Ходженди (умер в 1401 или в 1402 году), происходивший, как видно по его прозвищу, из города Ходженда (ныне Ленинабад), более известен как персидский поэт. „Латафат-Намэ“, сколько известно, его единственное произведение, написанное на старо-узбекском языке. Поэма эта до сего времени найдена лишь в одной рукописи, хранящейся в Британском музее, и почти совершенно не изучена. В предисловии автор рассказывает, что к нему однажды пришел томимый любовью юноша и попросил написать книгу, которая могла бы облегчить его муки. Кемаль согласился, и в результате возникла поэма в десяти письмах, по мнению автора столь совершенная, что если бы ее прочитал Хорезми, автор „Мухаббат-Намэ“, он разразился бы возгласами одобрения. В действительности „Латафат-Намэ“, насколько можно судить по известным нам отрывкам, мало чем оригинальна и заслуживает упоминания только ради полноты перечня древне-узбекских памятников литературы.

Большой интерес представляет для исследователя культурной и литературной жизни Средней Азии в начале XV века „Таашшук-Намэ“ Сиди-Ахмеда, тоже состоящая из десяти любовных посланий и написанная в 1435 году за одну неделю. Интересна не столько самая поэма, сколько личность ее автора — родного племянника султана Шахруха. Принадлежность к дому тимуридов, видимо, не избавила Сиди-Ахмеда от нужды и не облегчила ему выхода на политическую арену. Судя по его поэме, Сиди-Ахмед жил как частное лицо. В своих стихах он настоятельно просит Шахруха о материальной поддержке, обращаясь к нему в столь же униженных выражениях, как какой-нибудь рядовой поэт панегирист.

„Таашшук-Намэ“ Сиди-Ахмеда дошла до нас в одной рукописи, тоже хранящейся в Британском Музее. Повидимому, эта поэма не пользовалась большим распространением. Избранный ее автором жанр эпистолярной лирики к концу первой половины XV века утратил свою популярность; любовные письма в поэзии были вытеснены газелью.

Газель — небольшое, в пять-девять „бейтов“ (двойных стихов) лирическое стихотворение с одной и той же рифмой во всех строках. Каждый „бейт“ заключает законченную мысль и почти никогда не связан с прочими „бейтами“. Отдельные „бейты“ обычно можно свободно переставлять без всякого ущерба для смысла. Темой газели в огромном большинстве случаев являются жалобы

на неудовлетворенную страсть, жестокость возлюбленной и страдание влюбленного.

Создателем жанра газели был знаменитый азербайджанский поэт Хакани, за ним в этом жанре продолжал писать иранец Саади. В поэзии Саади сильно отразилось влияние мусульманского мистицизма — суфизма. Под „другом“ (возлюбленной) в его газелях подразумевается бог, „близость“ (соединение) с возлюбленной, к которой тщетно стремится влюбленный, — „единение с богом“ в суфийском смысле; „вино“, опьяняющее неудачливого влюбленного, — символ мистического экстаза и т. п.

Той же терминологией пользуется в своих газелях и величайший представитель этого жанра в лирике современник Тимура, Хафиз Ширазский, а за ним и бесчисленное множество подражателей с большей или меньшей степенью таланта. Если Хафиз, человек отнюдь не чуждый земных интересов и плотских наслаждений, быть может, и вкладывал в свои газели более реальный смысл и порой отражал в них действительные события, то у других поэтов, как персидских, так и узбекских, мистический элемент в газелях играет явно преобладающую роль. Не вдаваясь здесь в дальнейшее рассмотрение этого вопроса, отметим, что поиски намеков на реальные факты и подлинные переживания в газелях даже выдающихся поэтов предшествующей Навои эпохе, а также в лирическом наследии самого Алишера, дают весьма скудные плоды. Свои мысли и чувства поэты того времени выражать не любили, а если ощущали в этом потребность, то охотней прибегали к форме „месневи“, более свободной и дающей стихотворцу полный простор для интимных излияний. Газель же у подавляющего большинства поэтов стала лишь средством, чтобы щегольнуть изощренной поэтической техникой или пустить в оборот какой-либо новый экстравагантный образ, рифму или сравнение. Стремясь во что бы то ни стало ошеломить, ошарашить читателя, наиболее отважные поэты такого рода доходили до крайних пределов смелости, чему примером может служить такой „бейт“ некоего Тархани:

Я оцинал птицу моего сердца и изжарил ее,
Чтобы каждый миг бросать твоему псу новую приманку.

Реквизит рядовой газели весьма скуден и однообразен. Плененный розой соловей, возлюбленная, чей стан подобен кипарису, а лицо — полной луне или розе, чьи волосы подобны ночи, губы — рубинам, зубы — жемчужинам, кускам сахара или даже градинкам, ресницы — стрелам; незадачливый влюбленный с пронзенным этими стрелами сердцем, льющий кровавые слезы и уныло скитающийся по улице подруги, завидуя участи ее собаки; бесконечная ночь разлуки, никогда не переходящая в утро встречи с любимой — больше мы, обычно, ничего не найдем в газели. В заключение поэт часто обращается к кравчеху, требуя вина, чтобы улизнуть и забыть свое горе. Стандарт этот нарушается крайне редко, и ин-

дивидуальность среднего стихотворца может, как уже сказано, проявиться только в новых сравнениях, метафорах или рифмах. Сказанное относится и к персидским, и к узбекским поэтам — предшественникам Алишера Навои. Лишь весьма немногим из них, одаренным большим талантом, удавалось иногда вырваться из традиционного круга образов и заговорить проще и естественнее.

К числу несомненно даровитых поэтов-самаркандцев принадлежит Секкаки, панегирист Улуг-бека. О жизни Секкаки мы знаем очень мало. Известно только, что он жил в Самарканде и умер, вероятно, еще до переезда туда, в 1466 или 1467 году, Алишера Навои. Самаркандцы гордились своим земляком и ставили его стихи чрезвычайно высоко.

Несколько иную характеристику творчества Секкаки дает Алишер Навои. "...Когда я был в Самарканде, — пишет Навои в своем сборнике биографий поэтов „Драгоценные собрания“, — и допрашивал хвалителей, чтобы узнать что-нибудь из плодов его (Секкаки) дарования, то не оказалось ничего, заслуживающего таких похвал. Когда им нечего сказать, самаркандцы говорят: „Все хорошие стихи маулана Лутфи принадлежат маулана Секкаки, но маулана Лутфи украл их и приписал себе“. В тех местах приходится иногда слышать такую неприличную, бесвкусную похвальбу.“ Следует, однако, учесть, что в этом суровом отзыве, несомненно, проявилось некоторое пренебрежение „гератца“ Навои к самаркандцу, отражающееся и в других его характеристиках поэтов столицы Мавераннахра.

Секкаки оставил после себя сборник стихов, содержащий газели и касыды — длинные хвалебные стихотворения вроде латинских од. Рукописи этого сборника крайне редки; их всего две — в Лондоне и в Ташкенте. В газелях Секкаки чрезвычайно ярко отразилось то стремление к оригинальности и необычности сравнений, эпитетов и словосочетаний, о котором мы говорили выше. Богатая фантазия и несомненный поэтический талант помогли Секкаки в отдельных случаях находить действительно удачные и свежие образы. Превосходный знаток своего родного (тюркского) языка, он значительно пополнил однообразную поэтическую лексику своих предшественников. Эффектно звучит его касыда в честь Улуг-бека, где он в сильных выражениях прославляет этого государя, не забывая при этом воздать хвалу самому себе:

Много лет должно еще небо совершать свой кругооборот,
Пока оно вновь создаст такого тюркского
Поэта, как я, и такого ученого царя, как ты, —

гордо восклицает Секкаки. Об учености Улуг-бека поэт говорит и в другой касыде, ставя своего покровителя выше Платона, Аристотеля, Птоломея и других ученых древности и мусульманского мира. Вряд ли, однако, Секкаки сознавал действительное значение научной деятельности Улуг-бека; в его восхвалениях скорее следует видеть лишь обычную лесть панегириста.

В Самарканде же протекала деятельность поэта Атаи, прославлявшего Улуг-бека и его сына Абд-аль Латыфа. Уроженец Балха, Атаи, как указывает это прозвище, происходил от туркестанских мистиков (по некоторым, не вполне достоверным сведениям Атаи был внучатым племянником знаменитого поэта-дервиша Ахмеда Ясави). В уже упомянутом нами биографическом сборнике „Драгоценные собрания“ Алишер Навои говорит, что Атаи, внешнеюстью похожий на дервиша, „был человек доброго нрава и веселый. Он сочинял стихи по-тюркски, и они имели в свое время среди тюрков большую славу“. Приведа один „бейт“ из газели Атаи, Навои в заключении замечает:

„В рифме тут есть небольшой изъян, но маулана Атаи говорил весьма просто (буквально — „на тюркский лад“) и не был старателен в соблюдении рифмы“.

Отсутствие педантизма в области поэтической техники не соединялось, однако, у Атаи с простотой содержания. Газели его, как и у Секкаки, характерны изысканностью оборотов и стремлением блеснуть какой-нибудь формальной новинкой. Достижения его в этой области довольно значительны, некоторые изгибы мысли действительно оригинальны и новы. Неожиданно звучит, например, его уничижительное сравнение солнца с рабом.

При всех формальных достоинствах поэзии Атаи, популярность поэта после его смерти, видимо, была невелика: газели его дошли до нас в одной единственной рукописи, хранящейся ныне в Институте востоковедения Академии наук СССР.

Непреходящую славу приобрел зато младший современник двух упомянутых поэтов — гератец Лутфи, „властитель слова“, как его почтительно называет Алишер Навои. О жизни Лутфи мы не имеем почти никаких сведений. Большую часть своих дней поэт провел в Герате, но, видимо, посещал и Самарканд, столицу Улуг-бека, которого он прославил в ряде своих произведений. Даты его рождения и смерти в точности не известны; полагают, что он скончался около 1465 года. В уже цитированных нами „Драгоценных собраниях“ Навои говорит о Лутфи, между прочим, следующее:

...В персидском и тюркском языках маулана Лутфи не было равного, но в тюркском слава его была больше. Тюркский его „диван“ знаменит, там есть стихи, которым не легко подражать... В принадлежащем маулана Лутфи переводе „Книги побед“ (известной персидской биографии Тимура, написанной Шереф ад-дином Али Йезди) больше десяти тысяч „месневи“. Этот перевод не был переписан набело (то есть окончательно отделан) и потому не получил известности. А по-персидски маулана Лутфи писал подражания трудным стихотворениям многих мастеров касыды и писал их хорошо. Он дожил до 99 лет... Маулана Лутфи в юности усовершенствовался в светских науках и после того прошел по пути суфизма под руководством маулана Шихаб-ад-дина Хиябани... Маулана Лутфи был человек святой, благословенный, и много раз читал за меня „фатиху“ (первая глава корана, мусульманское „отче наш“).

Вот, в сущности говоря, и все те биографические сведения о Лутфи, которыми мы располагаем. Полные пиетета слова Навои свидетельствуют о величайшем уважении Алишера Навои к памяти этого большого поэта, преемником которого он в душе себя считал. Из других источников мы знаем, что престарелый Лутфи приветствовал первые поэтические опыты Алишера и с характерным восточным преувеличением клялся, что готов за одну его газель отдать десять — двенадцать тысяч своих персидских и тюркских „бейтов“.

Преклонение Навои перед Лутфи объясняется, конечно, не только почтением ученика к учителю. Навои необычайно высоко ставил поэтическое дарование Лутфи. И действительно, Лутфи с полным основанием может быть назван крупнейшим древне-узбекским поэтом первой половины XV века.

Литературное наследие Лутфи не очень велико; до наших дней, кроме „дивана“ — собрания стихотворений на тюркском языке, сохранилась лишь его поэма „Гуль и Науруз“ — история злоключений двух влюбленных, написанная в 1408 или 1409 году. Из персидских произведений Лутфи мы пока что не знаем ничего, кроме отдельных стихов, приводимых в различных антологиях.

В „диване“, как обычно, преобладают газели, хотя есть там и несколько касыд, из которых особенно выделяется одна — в честь Шахруха. В своих газелях Лутфи пытался соревноваться с лучшими представителями этого жанра — Хафизом и Кемалем Ходженди, о котором нам приходилось говорить выше. В выборе этих образцов для подражания сказался тонкий эстетический вкус Лутфи: из всех поэтов, писавших газели, именно Хафиз, как мы уже упоминали, отличается наибольшей простотой, свежестью и непосредственностью творчества.

Блестящая поэтическая техника и большое богатство языка позволяли Лутфи, когда он того хотел, создавать самые сложные и замысловатые сочетания образов, эпитетов и сравнений. К формальным достоинствам поэзии Лутфи относится также и большая музыкальность, благозвучие многих его стихотворений, достигающаяся умелой эксплуатацией фонетических особенностей тюркского языка и возможностей, предоставляемых в этой области „арузом“. В частности, Лутфи виртуозно пользуется так называемыми „редифами“ (вторая, неизменная часть сложной рифмы, проходящей в газели через все стихотворение). Однако не эти изощренные приемы, а стремление к максимально возможной в условиях установившейся литературной традиции простоте обеспечивает Лутфи высокое место в ряду современных ему поэтов.

Выгодно отличает Лутфи также тяготение к реализму: в его газелях подчас встречаются бытовые подробности, отражающие подлинную жизнь. Многие стихотворения Лутфи звучат задушевно и непосредственно, хотя и не могут претендовать на значительную глубину мысли. Употребляя современный термин, Лутфи можно было бы назвать урбанистом, горожанином, переживания которого, неразрывно связанные с городской жизнью, находят отражение в

его стихах. Кстати эта черта еще резче сказывается в творчестве Алишера Навои, для которого поэзия Лутфи служила образцом и во многих других отношениях.

Поставив себе задачу — померяться силами с такими корифеями гавели, как Хафиз и Ходженди, Лутфи с честью выдержал соревнование. Лучшие образцы его творчества могут быть смело поставлены рядом со стихами Хафиза и по форме, на наш взгляд, значительно превосходят гавели Ходженди. Значение Лутфи для дальнейшего развития и обогащения старо-узбекского литературного языка, отчетливо сознававшееся его современниками, может быть по справедливости оценено и в наше время. Подобно Державину, благословившему, «сходя в гроб», юного Пушкина и современное ему поколение поэтов, Лутфи напутствовал при его первых шагах на поэтическом поприще Алишера Навои, который своим замечательным дарованием расширил пути и дороги, проложенные его учителем.

* * *

В нашем небольшом обзоре мы имели возможность коснуться творчества лишь наиболее выдающихся древне-узбекских поэтов первой половины XV века. Наряду с ними жили и творили менее яркие светила на поэтическом небосклоне. Каждый из этих поэтов вложил свой кирпич в здание древне узбекской поэзии, которое достойно увенчал ее величайший представитель — Алишер Навои. Биографии Алишера и посильной характеристике его творчества мы надеемся посвятить несколько очерков в ближайших номерах нашего журнала.

С. ЛИХОДЗИЕВСКИЙ

РОМАН О ГОРНОМ КОЛХОЗЕ*

Роман киргизского писателя Тугельбая Сыдыкбекова „Темир“ написан еще в 1939—1940 гг. Что же касается времени действия, то оно должно быть отнесено к периоду коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Перед нами роман об острой классовой борьбе в киргизской деревне. Значительностью темы и свежестью материала, почерпнутого из жизни советской Киргизии, произведение Сыдыкбекова вполне закономерно привлекает к себе внимание читателей.

Две бедняцких семьи, которых советская власть освободила от байской кабалы вместе со всем киргизским народом, находятся в особо близкой дружбе, — это семья Калыбека и Умеунай с дочерью Куляй и семья вдовы Каныш с сыном Темиром, именем которого назван роман.

„Темир думал иногда: „Удивительно, две старухи сумели создать такие хорошие отношения между двумя семьями. Почему бы такие отношения не перенести и на все наше селение. Ведь все мы тоже, в конце концов, одна трудовая семья!“. Ему нравилось мечтать об этом, и он приходил к выводу, что эти две матери, быть может, уже похожи на тех людей будущего, которые в совместном труде, в чувстве бытового товарищества и уважения друг к другу построят какую-то новую, полную истинного дружества, жизнь.“ (стр. 25).

Мечта Темира начинает осуществляться: мы видим победу колхозного строя в отдаленном от центра горном киргизском ауле.

Бай Борубай, владевший лучшими пастбищами и эксплуатировавший киргизскую бедноту, чувствуя обреченность своего класса, начинает хитрить: связанный с басмаческой бандой, он инсценирует „похищение“ своего имущества басмачами — теперь он „бедняк“, готовый не только вступить в колхоз, но и присоединиться к доб-

* Тугельбай Сыдыкбеков. „Темир“. Перевод с киргизского под редакцией Вс. Рождественского. „Советский писатель“ Л. 1947.

ровольческому отряду по борьбе с басмачеством. Борубаю содействует занимающий в районе „большую должность“ Чотур Конкаргаев, сын бека, пролезший в советские органы и действующий теперь под именем батрака своего отца. Борубай, чтобы заручиться защитой „начальства“, хочет устроить женитьбу Конкаргаева на Куляй, невесте Темира. В свою очередь Конкаргаев, боясь разоблачений, душит свою жену Джамилю, которая готова раскрыть подлинный облик мужа перед советскими органами.

Этому классово-враждебному лагерю противостоит колхозная масса, возглавляемая партийной организацией. Через роман проходят образы секретаря партийной организации Темира, председателя колхоза Болотбека, бывшего батрака Борубая, старика Джантыка, отца Куляй Калыбека и других рядовых колхозников. Все они вздохнули полной грудью при советской власти, все они ей беззаветно преданы. Джантык выражает чувства всего трудового крестьянства, когда заявляет: „Темир мне сказал: жизнь у колхозников будет очень хорошей. И я верю ему. Он говорит, как партия. А партия и наша советская власть думают не только о том, чтобы сейчас нам было хорошо, но и о том, чтобы наши дети и внуки жили счастливо. Счастливее даже, чем мы. Вот потому я и вступил в колхоз на старости лет. Я хоть и стар, но глаза мои еще хорошо видят. Дружный труд — это счастье. Вся земля теперь наша, общая — и всех нас она накормит досыта“ (стр 85).

Роман Садыкбекова показывает дружный колхозный сев и последовавшее за его окончанием веселое народное празднество с киргизскими играми — борьбой, скачками, демонстрирующими силу и ловкость колхозников.

Перед читателем проходят страницы, рисующие сооружение оросительного канала, а также облаву на басмачей и ликвидацию басмаческой банды. Остро драматична сцена расправы басмачей с двумя милиционерами, которые ими были захвачены вместе с конвоировавшимися в районный центр Борубаем. Озверелый курбаши, лицемерный мулла, Дамбылда, „получивший“ с неба от пророка книгу и пытающийся сфелкетировать на народных суевериях, выписаны с реалистической убедительностью.

Басмаческая шайка разгромлена. Заклятые враги народа — курбаши, Борубай, Конкаргаев и их прихвостни — должны предстать перед советским судом.

Роман завершается лирической главой, полной света, воздуха и красок: колхозные девушки и молодые женщины в ярких нарядах в праздничный день идут рвать цветы в горы. На живописном фоне весеннего горного пейзажа происходит интимная встреча Темира и Куляй.

„Темир“ Тугельбая Сыдыкбекова, рисующий торжество коллективизации и укрепление советского строя в Киргизии, является несомненно примечательным событием в развитии молодой советской киргизской прозы. Вместе с тем роман не лишен существенных недостатков.

Прежде всего бросается в глаза известный схематизм и недо-

работанность ведущих образов романа, что можно проследить и на центральном герое. Темира мы видим в семье, как любящего и чуткого сына своей матери Каныш. Ради нее он отказывается от учебы и остается в колхозе, чтобы оберегать ее старость. Автор показывает его смелость и мужество в борьбе с басмачеством. Но его руководящая роль в укреплении колхоза, в организации колхозного труда раскрыта крайне поверхностно.

Схематично обрисован председатель колхоза Болотбек. Бывший батрак Борубая, он выступает в романе как человек неуверенный в себе, неспособный разобраться в сущности обвинения Конкаргаева, возмущающегося тем, что колхозники отметили скромным празднеством завершение сева. Слушая слова Конкаргаева, — читаем в романе, — Болотбек не решался спросить, какое „преступление“ имеет он в виду. Он стоял молча, как и подобает подчиненному, когда говорит начальник“ (стр. 101—102). Милиционеры, бывшие очевидцами этой сцены, комментируют ее следующим образом: „Ведь он (Болотбек. С. Л.) с малолетства привык унижаться, потому что всю жизнь был батраком у бая. Сразу этого изжить нельзя. Он хороший человек. Он коммунист и работает председателем с первого же дня, как здесь организовали колхоз. А наш начальник, несмотря на это, унизил его авторитет перед народом“ (стр. 108). В этих цитатах, как видно, подчеркивается робость и уничижение Болотбека, неуместные в характере человека, призванного быть организатором колхозного производства. Определение „хороший человек“ положения не спасает, так как в романе Болотбек действительно находится в тени и мало чем себя проявляет. Вместо развернутого показа роли колхозного актива в организации колхозной жизни автор непростительно много уделяет места разглагольствованиям провокатора Конкаргаева, читающего „нотации“ колхозникам.

Автор забывает сталинское указание, что женщины в колхозе — большая сила. Женщины, выведенные в романе, не принимают активного участия в колхозном труде, их деятельность замыкается в узком семейном кругу (мать Кулай Умсунай, мать Темира Каныш и др.). Даже Кулай, которая по замыслу автора вовсе не является героиней второстепенной, не проявляет себя в колхозной жизни. Однажды Темир находит ее в красном уголке колхоза в обществе подруг — Кулай читает с ними газеты. Темир просит организовать читку газет и для старых женщин, на что девушки соглашаются — они сами уже об этом думали. Этим собственно и исчерпывается общественная активность героини. Неизвестно даже, исполнила Кулай просьбу Темира или нет.

Ничем не оправдана ранняя смерть Кассена, брата Кулай. На первой странице романа он охарактеризован, как „умный, смелый и выносливый мальчик“, который „будет силен и грозен, как гром, разбивающий камень“. Но уже через страницу он умирает. Старуха Улкан советовала матери Кассена: „Главное — не отпускай от себя сына туда, где много чужого народа; не разрешай ему так много разговаривать. Послушайся меня: возьми змеиную голову, заверни ее

в старую тряпицу и зашей в одежду Кассена. Если сделаешь так, как я тебе советую, его никто и никогда не взглянет" (стр. 4).

Но вот Кассен отправился в город на учебу, и „предсказания“ суеверной старухи сбываются: Кассен умирает. Правда, автор впоследствии причиной смерти юноши называет туберкулез, но это не вяжется с тем, что Кассен был „выносливый мальчик“.

В развязке романа фигурирует письмо умирающего Кассена, который поручает опеке Темира свою сестру Кулай. Неужели для скрепления любви Темира и Кулай обязательно нужна смерть подававшего большие надежды Кассена?!

Тема создания советской киргизской интеллигенции поставлена в романе Сыдыкбекова, но она нешла более или менее полной реализации. На учебу стремятся Темир и Кулай, но они не могут оставить своих стариков-родителей. В романе есть такое место: „Сверстники Темира, учившиеся в городе, на летние каникулы приезжали в родной аул. С непокрытой головой, в пальто нарастляшку, они ходили по улице, оглашая ее скрипом новых ботинок. На них были белые, как снег, воротнички, разноцветные галстуки. Сквозной ветер пугал их волосы, и поэтому им приходилось ежеминутно вынимать расчески из нагрудного кармана“ (стр. 21). На этом описании учащихся, не лишенное, может быть, признаков авторской наблюдательности, и заканчивается. Из разговора восторженных матерей дополнительно узнаем, что учащиеся послушны, вежливы, что они „мало едят мяса, а про кумыс и говорить нечего—никто из них не выпьет подряд и двух кесе.“ Если исключить неповинно и рано умершего Кассена, „учившиеся в городе“ ничем другим себя не проявляют, ни один образ из этой группы не развернут. Это замечание может быть распространено и на колхозный комсомольский актив: в общих фразах говорится, что комсомольцы находятся в первых рядах и на колхозной работе и при поимке басмачей, но и здесь нет ни одного индивидуализированного образа. Обезличивание героев является большим недостатком романа. С этим органически связано и то, что роман почти не говорит об организации колхозного труда и совсем обходит тему ударничества и социалистического соревнования в колхозе.

Всестороннее раскрытие образов колхозных тружеников, показ социалистического отношения к труду и колхозной собственности у Сыдыкбекова часто подменяются декларативными заявлениями, длинными речами героев (что, между прочим, свидетельствует также о неразработанности диалога).

В заключение — одно частное замечание. О Кассене сказано: „А как хорошо он учился. На экзаменах, говорят, он задавал такие вопросы, что и учителям трудно было ответить“ (стр. 6). До сих пор было известно, что на экзаменах учителя экзаменуют учащихся; в романе же учащиеся забывают трудными вопросами экзаменаторов. Тут явный недосмотр и редактора книги Вс. Рождественского.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Каххар. „Два чинара“. Роман. Продолжение. Перевел с узбекского Н. Ивашев	1
Андрей Иванов. На переправе. Стихи	27
Сольки Каландар. Мы на Урале. Повесть. Окончание	28
✓ Сергей Данилов. Моя родословная. Стихи	37
† И. Гуро. Сегодня в газетах пишут... Рассказ	38
Владимир Бабонаков. Старушка. Письмо. Домой. Стихи	45
Пенджабские сказки. Перевели А. Кисан и Протан Синг	47
М. Лаховский. В Самарканде. Очерк	52

СТАТЬИ

✓ Светлана Сомова. О поэзии, рожденной войной	58
В. Захидов. „Хайрат-уль-Абрар“	69
М. Салье. Очерки по истории узбекской литературы. Предшественники Алишера Навои	76
С. Лиходзиевский. Роман о горном колхозе	84

**РЕДКОЛЛЕГИЯ: М. АЙБЕК, В. В. ЕРШОВ, С. А. ЛЕВИТИНА,
В. А. ЛИПКО, С. А. МАЛЬТ, Т. САДЫКОВ, С. А. СОМОВА,
М. И. ШЕВЕРДИН (отв. редактор), М. ШЕЙХЗАДЭ.**

Адрес редакции „Звезда Востока“: Ташкент, Первомайская, д. № 20.
Телефон 3-38-81

Подписано к печати 23/VI 1947 г. Печ. листов 5,5. Тираж 4000 экз.
Цена 5 р. Зак. 1233 Р 04050. Изд. № 429.

Типография изд-ва „Пр. Вост.“ и „Кзыл Узб.“, г. Ташкент, ул. Дзержинского, 8.

